



АНРИ ПЕРРЮШО

Мане

БИОГРАФИИ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ



Биографии великих художников

Анри Перрюшо
Мане

«АСТ»

1955

УДК 75 : 929 Манэ Э.
ББК 85.143(4Фра)-8

Перрюшо А.

Мане / А. Перрюшо — «АСТ», 1955 — (Биографии великих художников)

ISBN 978-5-17-102362-1

Автор книги – известный писатель Анри Перрюшо, исследователь творчества французских художников-импрессионистов, таких как Поль Сезанн, Огюст Ренуар, Винсент ван Гог, Поль Гоген, Анри де Тулуз-Лотрек, Жорж-Пьер Сёра. Герой этой книги основоположник импрессионизма и один из самых выдающихся живописцев Франции – Эдуар Мане. Биографии-романы А. Перрюшо всегда достоверны и документированы, но это не мешает им быть живыми и волнующими, ярко воссоздающими облик художников и эпоху, в которой они жили и творили. В издании представлены наиболее известные картины Эдуара Мане, а также картины других художников.

УДК 75 : 929 Манэ Э.
ББК 85.143(4Фра)-8

ISBN 978-5-17-102362-1

© Перрюшо А., 1955
© АСТ, 1955

Содержание

Предисловие	6
Часть первая	8
I. Часы Бернадота	8
II. Бухта Рио	24
III. Сюзанна	32
Часть вторая	47
I. Мальчик с вишнями	47
II. Андалузский гитарист	66
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Анри Перрюшо Мане

© Librairie Hachette, 1955

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Предисловие

После Ван-Гога, Ренуара и Тулуз-Лотрека героем четвертой биографии в серии «Искусство и судьба» я выбрал Эдуара Мане, художника, создавшего «Олимпию» и явившегося средоточием той художественной эпохи, историю которой я вознамерился рассказать. Он ее стержень, ее движущая сила. «До Мане», «после Мане» – такие выражения полны глубочайшего смысла. С его именем заканчивается один период и начинается другой. Мане действительно был «отцом» современной живописи, тем, от кого исходил определяющий импульс, повлекший за собой все остальное. В истории искусства удалось бы насчитать совсем немного революций, подобных той, какую совершил он, – революции основополагающей, чреватой целым рядом серьезнейших последствий.

Однако этот революционер не мечтал ни о чем ином, кроме официальных почестей. Буржуа, завсегдатай бульвара, человек тонкого ума, денди, привыкший проводить время в кафе Тортони, приятель дам полусвета – таким был живописец, опрокинувший основы искусства своего времени. Он домогался славы, но славы, связанной с успехами в официальном Салоне. Считалось, что он искал скандальной известности; на самом деле скандалы причиняли ему много горя и страданий. Если что-то и занимало его помыслы, то это жажда наград и медалей.

Подобное противоречие, где весьма парадоксально отражается в человеке простейшая, введенная в моду романтизмом антитеза между буржуа и художником, не преминуло стать поводом для кривотолков. Образ Мане крайне упрощали. При жизни благодаря скандалам, сопутствующим его имени, мастера изображали эдаким представителем богемы, жаждущим популярности самого дурного толка; впоследствии в нем видели просто буржуа, раздавленного непосильной для него судьбой.

Такое категоричное суждение слишком примитивно. Шумиха, сопутствовавшая созданию репутации художника, обусловила те нарочитые преувеличения, которые характеризовали, разумеется, лишь поверхностные стороны его жизни. Но жизнь видимая отнюдь не является подлинной жизнью человека: она всего лишь какая-то ее часть, причем, как правило, не самая значительная. Жизнь Мане далеко не так ясна и очевидна, как о ней думали. Чем больше я изучал ее, тем более сложными и емкими оказывались ее неожиданные глубины, возникало что-то ранее совершенно неведомое, то, о чем не упоминалось и что на самом деле весьма существенно.

Нервный, легковозбудимый, снедаемый скрытым беспощадным недугом, погубившим так много великих художников и писателей прошлого века, Мане был человеком, одержимым творчеством. «Революционер вопреки самому себе»? Да, конечно, но в той только мере, в какой человек наперекор собственному желанию осознает себя самого или скорее принимает на себя то, что ему предназначено. Мане хотел бы для себя успехов Кабанеля, но он не мог писать так, как Кабанель. Он противился своей судьбе, но судьбу эту он нес в себе.

Именно ее, эту судьбу, я и попытался здесь разгадать. В конце книги можно найти библиографические указания, источники, на которые я опирался при описании этой жизни, где, как и в других моих работах биографического плана, всячески старался избежать того, что походило бы на роман. Стремясь как можно ближе узнать этого человека, я максимально умножил поиски материалов. О Мане писали много; равно много писали и о его современниках. Я заставил себя прочесть все. Труд довольно неблагодарный, зато плодотворный: я собрал жатву среди абсолютно забытых материалов той эпохи.

С другой стороны, необычайно плодотворной оказалась и моя погоня за неопубликованными документами. Этим я во многом обязан любезной помощи многих лиц. Вот почему я не могу не выразить своей бесконечной признательности г-ну Жану Адемару, помощнику

хранителя Кабинета эстампов Национальной библиотеки, предоставившему в мое распоряжение важные досье, в том числе неопубликованные документы самого разного характера; все это мне очень помогло в работе. Профессор Анри Мондор тоже с удивительной щедростью передал мне многочисленные неопубликованные документы, связанные с Малларме и Мери Лоран, ряд писем Мане к этой последней, а кроме того, еще несколько писем, адресованных Бертой Моризо Стефану Малларме. Параллельно с этим мсье и мадам Жан-Раймон Герар-Гонсалес, сын и невестка Эвы Гонсалес, передали в мое распоряжение принадлежащие им документы – главным образом переписку Мане с Эвой Гонсалес, Эммануэлем Гонсалесом и Анри Гераром и записную книжку молодого художника; они снабдили меня также бесценными сведениями об Эммануэле Гонсалесе и Феликсе Бракмоне. Мадам Женевьева Э. Оливье-Труазье и мадам Аннет Труазье де Диаз, дочь и внучка Эмиля Оливье, любезно разрешили мне ознакомиться с рукописным «Дневником» политического деятеля; текст этот представил исключительный интерес в связи с путешествием, совершенным Мане в Италию в 1853 году. Мадам Женевьева Э. Оливье-Труазье была так любезна, что пожелала записать специально для меня рассказ о венецианском приключении Мане, неоднократно слышанный от своего отца. Г-н Луи Руар любезно ответил на все мои порой весьма нескромные вопросы, касающиеся Мане, Берты Моризо и их близких. Я должен также поблагодарить г-на Жана Денизе, начальника Архивной службы и библиотек Морского министерства, он охотно содействовал розыску документов, имевших отношение к кандидатам в Мореходную школу, среди которых в те годы был юный Мане; г-на Мишеля Робида, уточнившего некоторые сведения относительно Изабеллы Лемоннье, его бабки; г-на Франсиса Журдена, передавшего мне письмо Клода Моне по поводу «Олимпии».

Я приношу всем свою глубочайшую благодарность.

А. П.

Часть первая В лоне семьи (1832–1853)

I. Часы Бернадота

Только сын деви Марии может быть и оставаться хорошим учеником.

Роже Пейрефитт. Дружба особого рода (Слова папаши Лозона, преподавателя математики)

Итак, мы в Париже 1840 года. Каждый день, в один и тот же час, мужчина, одетый в наглухо застегнутый сюртук с ленточкой Почетного легиона в петлице, продельывает неизменный путь от нижней части улицы Птиз-Огюстэн¹ на левом берегу Сены до дома номер 22 по улице Нев-Люксембург² на правом берегу, где находится бюро Министерства юстиции.

Жители набережных и хозяева лавок, расположенных в аркадах улицы Риволи, могли бы при его появлении проверять часы, как делали это жители Кенигсберга при виде Эммануила Канта. Привычки философа были столь же незыблемы, что и привычки этого человека с серьезным лицом, грустными глазами, с черным галстуком, завязанным бантом, на котором покоится густая, уже седеющая борода; он движется не без торжественной надменности, всегда одинаково ровной походкой. Ничто не отвлекает его внимания. Ничто и никогда не заставляет его замедлить или ускорить шаг, хоть как-то отклониться от заданного пути. Мужчина этот – начальник кабинета хранителя печатей, г-н Огюст Мане. Образцовый чиновник, он быстро поднялся по ступеням административной иерархии. В возрасте тридцати трех лет, еще до падения Карла X, он уже был начальником отделения в Министерстве юстиции. Июльская монархия тоже ему благоволила.

Родившемуся в конце прошедшего века – 14 фрюктидора IV года³ – Огюсту Мане сейчас сорок четыре года. Однако благодаря серьезности, осанке, высокой должности ему можно дать куда больше, как, впрочем, и многим его современникам. Ведь понятия возраста относительно. В своих колебаниях они подчиняются чему-то такому, что связано с модой. В 1840-е годы прошлого столетия те, кто едва распрощался с отрочеством, держали себя как зрелые люди. В театральном репертуаре тридцатилетних называли «старыми развратниками»⁴. Борода не зря отличает буржуа от лакея; она ведь еще и признак респектабельности. Г-н Мане должен был очень рано казаться «мужчиной в возрасте».

¹ Теперь улица Бонапарта.

² Теперь улица Камбон.

³ 31 августа 1796 года.

⁴ Цит. по: Jean Robiquet. L'Impressionnisme vécu. Paris, 1948. О первой пьесе Эмиля Ожье «Цикута» (1844).



Эдуар Мане. Портрет господина и госпожи Огюст Мане.

Он принадлежит к семье, происходившей из Иль-де-Франс; ее сыновья по традиции вот уже двести лет занимают более или менее важные официальные должности. В числе его предков архивы XVII и XVIII веков упоминают секретаря суда, прокурора и судью; расположенный неподалеку от Мант-ля-Жоли городок Эпон, где они жили, так и хочется назвать колыбелью клана Мане. Другие его члены в недавнем прошлом были: один прокурором в Большом совете, другой – казначеем Франции в канцелярии Алансона, третий – войсковым казначеем в Кале. Отец г-на Мане, умерший в 1814 году, едва достигнув пятидесятилетия, одно время был юристом в Париже, а в год революции стал мэром Женвилье, где из поколения в поколение члены семьи Мане наследуют великолепные имения. Инициативный от

природы, прекрасный администратор, он много сделал для этих мест⁵, особенно когда затеял большие осушительные работы (из-за близости к Сене климат Женвилье отличается чрезмерной влажностью, поэтому почти все представители семейства Мане страдали ревматизмом).

В 1831 году, теперь вот уже девять лет, Огюст Мане женился – не по любви, просто повинаясь тому, что принято, ибо для чиновника его положения предпочтительнее быть женатым, – на девице Эжени-Дезире Фурнье, которая была на четырнадцать лет его моложе и от которой он имел троих детей: мальчиков – он предпочел бы девочек, они спокойнее.

Он живет со своими домочадцами на улице Птиз-Огюстэн в доме 15 на третьем этаже; величественные ворота ведут в большой двор; позади него густой старый сад. Здесь обитают и другие его родственники, в частности один из его шуринов, Эдмон-Эдуар Фурнье, артиллерийский офицер и адъютант герцога Монпансье, а также один из племянников, метр Жюль де Жуи, блестящий адвокат двадцати шести лет от роду, родственник известного литератора Виктора-Жозефа Этьенна, прозванного де Жуи, чьи шумные успехи в литературе и театре удостоили его чести быть избранным в 1815 году во Французскую академию.

В общем, все Мане буржуа весьма зажиточные. После смерти отца Огюст Мане получил свою долю наследства (у него две сестры): 63 гектара земли и дома в коммунах Женвилье и Аньер. Он оставил за собой только маленькое имение, куда наезжает летом с домочадцами; остальное сдано внаем. К его собственным доходам присовокупляются доходы супруги; она, в свою очередь, была отнюдь не бедной. Одним словом, семья располагает по меньшей мере 25 тысячами франков в год⁶, что позволяет отнести ее к классу типичной средней буржуазии.

Г-н Мане ведет жизнь, обычную для людей его положения. Дважды в неделю он «принимает». Обычай довольно тягостный, ибо ничто не удручает его больше, чем обязанность по долгу службы приглашать за свой стол официальных лиц. К тому же, но в глубине души, он не одобряет в отличие от своего шурина-офицера политику июльского режима. Поддерживать отношения со своими коллегами старается как можно меньше. Он чувствует себя хорошо только среди нескольких друзей: это г-н Дефоконпре, переводчик Вальтера Скотта, который возглавляет коллеж Роллен, тот самый, что позади Пантеона; это г-н Пелла, преподаватель факультета права, и доктор Маржолэн. Возможно, он дорожит также и знакомством с довольно многочисленными лицами духовного звания, и они не упускают случая постучаться в его дверь. В самом деле, разве некая Агата Мане не была монахиней в монастыре Богоматери?

Итак, семейство Мане живет довольно замкнуто. Позже, когда старшему из сыновей, Эдуару (его с рождения прочили в магистратуру), исполнится семнадцать лет и волею случая ему придется познакомиться с сыном модистки, юноша будет крайне этим изумлен. «Пусть тебя не пугает это слово – „модистка“, – поспешит написать он матери, – право же, эта женщина совсем не похожа на себе подобных, а ее сын, ученик коллежа Жоффруа, просто очаровательный юноша и куда благовоспитаннее, чем многие из нас, поверь. И все же признаюсь, что оказаться в первое свободное от занятий воскресенье в лавке модистки было довольно странно».

В 1840 году старшему сыну было всего восемь лет. Он родился 23 января 1832 года в семь часов вечера и вырос в этой довольно угрюмой квартире, которую он и его братья, Эжен семи лет и Гюстав пяти лет, наполняют, по мнению г-на Мане, излишним шумом. Полупансионер в заведении каноника Пуалу в Вожираре, Эдуар там смертельно скучает. На

⁵ В 1899 году с некоторым запозданием память об этом Клемане Мане увековечили – его имя дали одной из улиц Женвилье.

⁶ В современном Мане денежном исчислении. Эти сноски в дальнейшем опускаются.

уроках ему совсем неинтересно; скорее бы пришла няня, скорее бы вернуться на улицу Птиз-Огюстэн, вновь обрести материнский кров – мать он обожает, – и братьев, и кузенов Фурнье.

Самые лучшие минуты наступают по вечерам, когда дядюшка Фурнье (а он к тому же и его крестный) коротает досуг вместе с родителями Эдуара и другими завсегдатаями дома – это происходит довольно регулярно. Пока дамы рукодельничают, а мужчины беседуют, дядюшка Фурнье – низенький, дородный, добродушный толстяк со смеющимся лицом и маленькой бородкой – забавляется, вынув из кармана блокнот для рисования: делает наброски. Обязанный, как и другие артиллерийские офицеры, уметь рисовать по причинам профессиональным, «чтобы зафиксировать укрепления, местонахождение и позиции противника»⁷, дядюшка Фурнье питает к карандашу подлинную страсть.

Образованный, с тонким вкусом, Фурнье по-настоящему любит искусство, хотя в присутствии своего деверя почти не рискует заговаривать на подобные темы. Чтобы наблюдать за дядюшкой, Эдуар тут же оставляет все игры. Он и сам не прочь сделать несколько штрихов по бумаге. Мгновенно сосредоточившись, он прислушивается к советам, начинает сызнова, кое-что исправляет, овладевает перспективой.

Но время бежит. Г-н Мане, который не удостаивает вниманием все эти пустые забавы, взглядывает на большие часы с колонками, стоящие в гостиной на камине между двумя массивными канделябрами; пора спать.

Утвержден новый хранитель печати; г-н Мане оставил министерское бюро – его самого назначили на должность судьи в суде первой инстанции департамента Сены. Он испытывает чувство удовлетворения: наконец-то освободился от зависимости, так его тяготившей.

В настоящее время г-н Мане имел бы все основания считать себя довольным судьбой, если бы Эдуар, его старший, не причинял столько огорчений. Эдуар не трудится. Ни малейших успехов. Не то чтобы он ученик недисциплинированный, но вечно какой-то рассеянный, равнодушный. Впрочем, учителя из заведения Пуалу слишком к нему снисходительны – быть может, оттого, что он так располагает к себе? При всей своей суровости г-н Мане конечно же не бессердечен. Он ни в коем случае не хотел бы притеснять этого ребенка. Но все-таки интернат будет ему полезнее. Короче, невзирая на испытываемые в этот момент сожаления, г-н Мане решает забрать сына из учебного заведения Пуалу и поместить на полный пансион в коллеж Роллен – тот самый, где начальствует его друг г-н Дефоконпре.

Эдуар – ему теперь уже двенадцать лет – не испытывает никакой радости, узнав об уготованном ему новом образе жизни. Прощайте, милые сердцу вечера, когда он коротал время подле дядюшки Фурнье. Эдуару разрешено покидать стены коллежа только по четвергам и воскресеньям; к тому же право на это он должен заработать сравнительно приличными оценками.

По правде говоря, ничего в нем нет привлекательного, в этом коллеже Роллен на улице Пост⁸, куда в октябре 1844 года Эдуар поступил в пятый класс. Хотя он и считается одним из самых «аристократических»⁹ учебных заведений Парижа, этот бывший монастырь августинцев слишком уж напоминает о прошлом: ведь при монархическом режиме там было исправительное заведение, куда принудительно заключали особ женского пола.

Низкие, слабо освещенные залы. Глазу остановиться не на чем: хоть бы какая-нибудь гравюра, даже географической карты нет, ученикам тесно, они «стиснуты как сельди

⁷ Robert Rey. Manet. Paris, 1938.

⁸ Бывшая улица По; сейчас улица Ломонд. Коллеж Роллен находился там, где расположены дома под номерами 42–54.

⁹ Antonin Proust. Edouard Manet, Souvenirs publiés par A. Barthelemy. Paris, 1913.

в бочке»¹⁰, пюпитры давят на грудь. Вечерами коптит скверный кинкет: света от него ничтожно мало, зато воздух наполняется зловонием.

С самого начала занятий г-н Дефоконпре – а он очень привязан к Эдуару – старается успокоить родителей относительно способностей их сына. «Знания этого ребенка слабы, – пишет он в своих заметках, – но он усерден, и мы надеемся, что он будет успевать». Слабы, это верно. По всем предметам он плетется в хвосте пятого класса. Вот, к примеру, латынь: среди шестидесяти двух учеников он ни разу не занял места ближе сорок второго, а порой скатывался даже до пятидесяти седьмого. И так почти по всем предметам. Только однажды по латинскому переводу ему удалось выйти на шестое место – это его лучший результат за весь год, – но после следующей контрольной работы он снова на пятьдесят втором месте¹¹. Что касается слова «усердие», так любезно употребленного г-ном Дефоконпре, то это, пожалуй, сильно сказано. Кроме гимнастики – да, там он среди лучших – и еще, конечно, рисунка, чем еще интересуется Эдуар? Историей? Порою хочется верить, что это действительно так, но чаще, пока г-н Валлон¹² ведет занятие, Эдуар украдкой почитывает что-нибудь постороннее.

И к сожалению, в июльских заметках г-н Дефоконпре будет вынужден почти признать, что покровительствуемый им ученик не отличался чрезмерным «усердием». Его продвижение было «в итоге немного медленно»; разумеется, он проявил «достаточно доброй воли», но все же «хотелось бы видеть больше рвения и энергии». В конечном счете юный Эдуар останется в пятом классе на второй год.

Вряд ли г-н Мане был слишком доволен. Как непохож на него этот беззаботный, легкомысленный ребенок! Может, он больше походит на родственников по линии Фурнье? Кто знает? Ведь родственники по материнской линии и впрямь не отличаются слишком-то уравновешенным темпераментом; в отличие от представителей семьи Мане они импульсивны, восприимчивы, склонны к авантюрам. Брат мадам Мане, кирасирский лейтенант, вспыльчивый задира, убит на дуэли. Ее дед Делану (ведущий свое происхождение от той династии Делану родом из Пуату, которая еще со времени Генриха III и на протяжении всего старого режима давала королям камердинеров) в годы революции нажил благодаря спекуляциям кругленькое состояние, но затем его потерял. Что до ее папашки... Но тс-с! Ну что можно сказать об этом ловком дипломате – ведь он, как известно, внес свой вклад в превращение князя Понтекорво, маршала Бернадота в наследника шведского престола, куда этот выскочка вознесся под именем Карла XIV. И что остается сказать об этом Бернадоте, который, получив свое, заплатил черной неблагодарностью тому, кто ему так помогал? Мадам Мане была крестницей короля Швеции – он умер несколько месяцев тому назад, в 1844 году, – но что проку? Она любит подсчитывать: ко дню крещения – кольцо из кораллов, а на свадьбу – вон те большие часы, что отсчитывают время на камине в гостиной. Вот и все! Не слишком-то много! Просто пустяк! Однако мадам Мане забывает упомянуть, что, помимо этих часов, Карл XIV преподнес ей на свадьбу еще шесть облигаций государственной ренты и 6000 франков наличными. Она забывает также – впрочем, она может этого не знать, – что ее отец вовсе и не был дипломатом.

¹⁰ Antonin Proust, указ. соч.

¹¹ Все школьные оценки и замечания, упоминаемые в этой главе, приводятся согласно рукописному оригиналу школьных оценок Мане, хранящемуся в запаснике Кабинета эстампов парижской Национальной библиотеки.

¹² Г-н Валлон, которому было тогда тридцать два года, впоследствии сыграл как депутат от департамента Нор определенную политическую роль, хоть и кратковременную, но решающую, когда в 1875 году вырабатывалась Конституция III Республики.



Жозеф-Николя Жуи. Копия с оригинала Франсуа-Жозефа Кинсона. Карл XIV Юхан (Жан-Батист-Жюль Бернадот).

В 1810 году, когда разворачивались события в Швеции, Жозеф-Антуан-Эннемонд Фурнье¹³, прежде занимавшийся коммерцией в Ганновере, а затем в Гётеборге, обанкротился. Он вернулся во Францию.

В этот тяжелый для себя период Фурнье и попал на службу к Бернадоту и помог ему в осуществлении его кампании. Захватив изрядную сумму денег, Бернадот двинулся в Швецию и прибыл в Эребро, где тогда совещался сейм. Сейм утвердил избирательную комиссию из двенадцати членов. На первых выборах Бернадот получил один-единственный голос. Воспользовавшись тем, что французский поверенный в делах был отозван, Фурнье, не гну-

¹³ Он родился в 1762 году и был сыном смотрителя вод и лесов Гренобля.

шаясь буквально никакими средствами, выдал себя за представителя императорского правительства. Он во всеуслышание заявил, что «Бернадот – единственный наследный принц, которого император и вся Франция восприняли бы как достойного избрания»¹⁴. Дело было сделано. Бернадот получил десять голосов.

Знает ли г-н Мане обо всех этих делишках? Если ему и доводилось задумываться о своем тесте – впрочем, он его никогда не видел (Эннемонд Фурнье умер в 1824 году, за семь лет до свадьбы дочери), – то только тогда, когда начинало казаться, что Эдуар скорее похож не на родственников по отцовской линии, а как раз на этого предка, героя невероятнейшей истории, о котором в официальных сферах до сих пор отзываются весьма неодобрительно¹⁵. Но тс-с-с! Часам, позванивающим в тихой квартире на улице Птиз-Огюстэн, надлежит напоминать только о черной неблагодарности покойного короля по отношению к своему «дипломату» – а ведь был обязан ему возвышением.

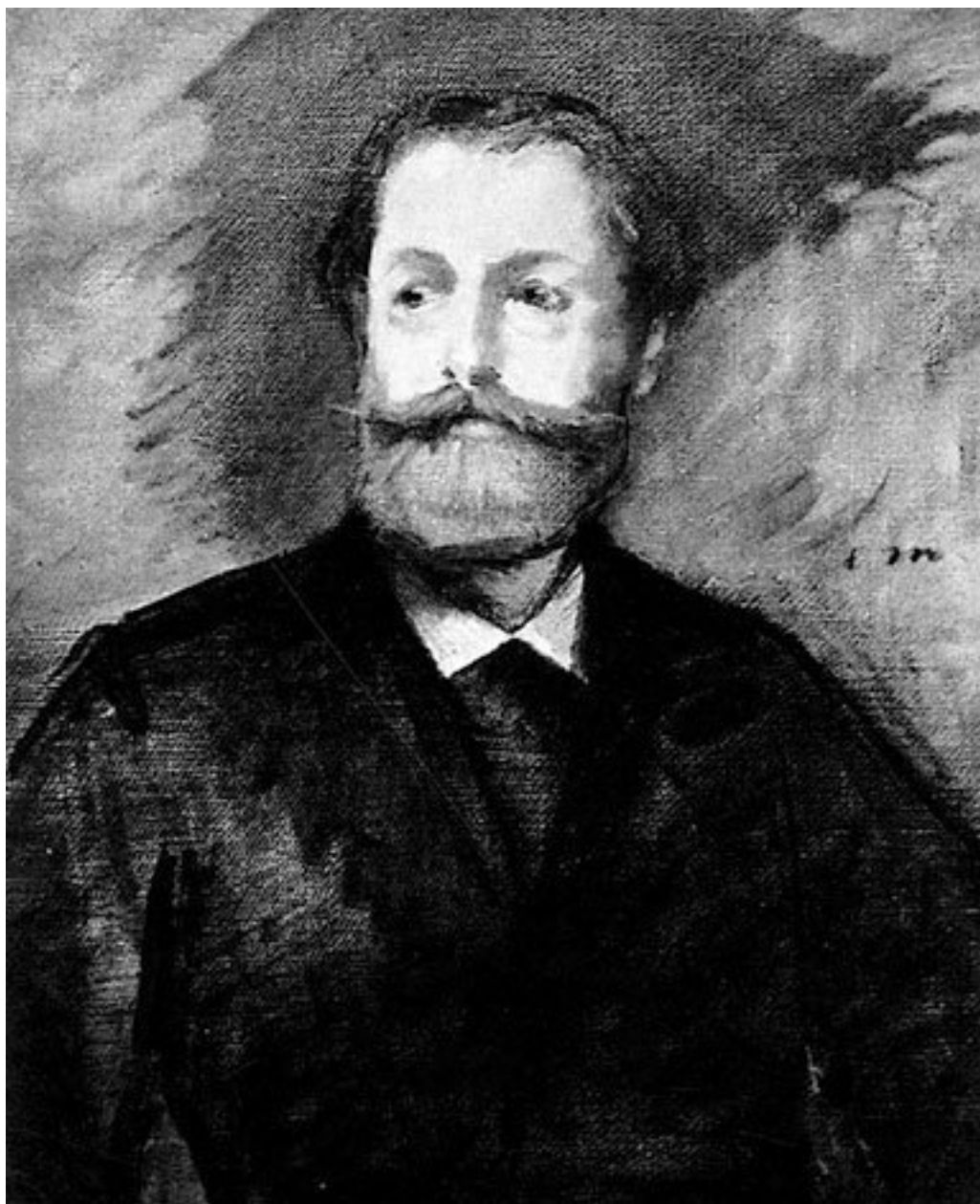
Оставшись на второй год в пятом классе, Эдуар лишается товарища, чьей дружбой очень дорожил, – Антонена Пруста¹⁶, сына бывшего депутата от департамента Дё-Севр. Без малого год провели они в пятом классе бок о бок на одной скамье. Но Антонен Пруст, как и положено, переходит в четвертый класс. Друзья не смогут больше видеться, разве что в неурочные часы. Они будут встречаться также по воскресеньям, когда отправляются на ставшую традиционной прогулку в сопровождении дядюшки Фурнье.

Дядюшка Фурнье счастлив: он обнаружил у племянника явные способности к рисованию и всячески им потворствует. Пока его гарнизон стоит в Венсенне, он часто привозит туда подростков; все трое делают наброски, гуляя по живописным окрестностям. Ну и конечно же он водит их в музеи, главным образом в Лувр.

¹⁴ Bernard Nabonne. Bernadotte.

¹⁵ В 1845 году В. Sarrans Младший публикует в издательстве «Comptoir des imprimeurs-unis» «Историю Бернадотта» в двух томах, где Фурнье представлен «личностью, недостойной уважения, лишенной звания и полномочий», где говорится о „неблаговидной деятельности этого лица в прошлом“, где, наконец, цитируются слова министра внутренних дел императорского правительства: «Я не в состоянии поверить, что это лицо имело наглость самовольно взять на себя какую-то миссию (...). Правительство (...) в любом случае не могло опуститься до того, чтобы использовать подобного субъекта для осуществления важных политических намерений». Почти все биографы Бернадота вынуждены крайне резко высказываться по поводу Фурнье. Любопытное обстоятельство – вероятно, никто из них не знал, что это дед Мане. Что касается исследователей жизни художника, то у них никогда не возникало желания уточнить эту историю по первоисточникам, и они скопом повторяли легенду о дедушке-дипломате.

¹⁶ Этот Антонен Пруст, который будет всю жизнь тесно связан с Мане, не имеет никакого отношения к семье Марсея Пруста.



Эдуар Мане. Портрет Антонена Пруста.

Лувр обладал тогда особой притягательностью для посетителей – там экспонировалось пятьсот картин из так называемого «испанского музея» Луи-Филиппа. В те годы Испания у французов была в моде. Со времен Наполеона и печально известной войны, которую вел император по ту сторону Пиренеев, все военные или политические события – такие, к примеру, как экспедиция 1823 года, взятие форта Трокадеро в Кадиксе или сражения карлистов, – не переставали привлекать внимание к этому полуострову. Восстанавливая традицию, прославленную Корнелем и Лесажем, писатели романтической эпохи часто вдохновлялись Испанией: так случилось с Гюго, после «Эрнани» 1830 года создавшим в 1838 году «Рюи Блаза». Шарль Нодье опубликовал в 1837 году «Инесс де ла Сиеррас», а Теофиль Готье выпустил в 1843 году «За горами» («Tras los montes») ¹⁷. Мериме, в 1825 году напечатавший «Театр Клары Гасуль», только что обнародовал «Кармен». В живописи тоже происходило

¹⁷ «За горами» (испан.).

нечто подобное. Разве в последнем Салоне полотно Курбе не называлось «Гитарреро»? В 1838 году могло показаться, что вот-вот родится школа франко-испанской живописи.

«Испанский музей» был официально открыт как раз в первых числах января 1838 года. В сущности, этот факт положил начало постепенно крепнущему интересу к искусству Испании – если прежде его знали очень мало, то теперь оно приобретает неповторимую прелесть новизны. Ранее произведения испанских художников казались далекими, недостижимыми. Граверов в Испании не было, а значит, и воспроизведения картин появиться не могли. И вообще какие полотна мастеров Пиренейского полуострова хранились во французских музеях? Раз-два – и обчелся.

В Лувре их было ровно двенадцать¹⁸. Поэтому, когда в 1837 году в Испании вспыхнули беспорядки, связанные с движением карлистов, Луи-Филиппа осенила идея поручить барону Тейлору – искушенному любителю искусства и опытному путешественнику, который ловко провернул в 1837 году покупку луксорского обелиска у Мухамета-Али, – «приобрести без шума» в Испании столько картин, сколько удастся. Барон Тейлор получил для этих тайных операций более миллиона франков. Ему удалось вывезти из Испании преимущественно морем более четырехсот произведений – неравноценных, конечно, но несколько десятков полотен представляли интерес и ценность исключительные.

Эти картины – а к ним в 1842 году прибавилась еще и коллекция англичанина Фрэнка Холла Стэндиша, завещанная им Луи-Филиппу, – дядюшка Фурнье и комментирует своему племяннику. Какое впечатление должны производить они на тринадцатилетнего мальчика, такого нервного и эмоционального! В пяти огромных залах «испанского музея», где полы вымощены красной плиткой, а рамы картин почти касаются на стенах друг друга, царит глубокая тишина. Посетители погружены в размышления и даже чуть подавлены этой мрачной живописью, благодаря плохому освещению она кажется еще темнее. Из коричневатого мрака, прорезанного сверкающими вспышками, возникают какие-то лихорадочно-напряженные, экзотичные или жестокие сцены: изображения самых «невероятных мук, где среди прочих муки святого, наматывающего на вращающийся барабан собственные внутренности»; рождается «набожный гримасничающий кошмар»; «сновидение, пронизанное чудовищной мистикой», которое отдает «монастырем и инквизицией»¹⁹. Каталог «испанского музея» щедро преувеличивает богатства музея. Подлинность этих девятнадцати полотен Веласкеса, восьми – Гойи, девяти – Греко, двадцати пяти – Риберы, двадцати двух – Алонсо Кано, десяти – Вальдес-Леаля, тридцати восьми – Мурильо и восьмидесяти одного – Сурбарана вызывает сомнение. И однако все же как много прекрасных произведений! Некоторые детали Эдуар зарисовывает в свой альбом. Подолгу ли стоял он перед такими полотнами, как «Махи на балконе» и «Женщины Мадрида в костюмах мах» Гойи, или у сурбарановского «Монаха»? Так или иначе он запомнил их навсегда.

Вероятно, дядюшка Фурнье водил его полюбоваться и превосходной коллекцией маршала Сульта; последний, будучи «знаменитым грабителем испанских церквей»²⁰, собрал для своей галереи сотни две картин, и среди них несколько замечательных Мурильо и подлинные шедевры Сурбарана.

Стараниями дядюшки Фурнье приобщение к искусству во время каникул не прекращается – оно происходит то в Женвилье, то в имении Понсель близ Монморанси, принадлежащем артиллерийскому офицеру.

Человек страсти сосредоточен только на своей страсти. Целиком поглощенный страстью собственной, дядюшка Фурнье, нимало не думая о плохих оценках Эдуара, а тем более

¹⁸ Опись 1832 года.

¹⁹ Jules Breton. *Nos Peintres du Siècle*. Paris, 1889.

²⁰ Léon Rosenthal. *Du Romantisme au Réalisme*. Paris, 1914.

о том, что не следовало бы отвлекать его от греческого и латыни, норовит, как только он оказывается рядом, вручить племяннику карандаш. Он даже подарил ему «Этюды по Шарле» – пусть мальчик совершенствуется в искусстве рисунка.

Дальше – больше. Занятия в коллеже Роллен возобновились. Смысла от того, что Эдуар остался в пятом классе на второй год, никакого: по сравнению с прошлым годом он так и не достиг лучших результатов, кроме разве истории, где один-единственный раз, в мае, был удостоен второго места. «Этот ребенок мог бы успевать куда лучше; правда, намерения у него хорошие, но он несколько легкомыслен и не так прилежен в выполнении школьных заданий, как хотелось бы». Но дядюшку Фурнье это ничуть не интересует – он одно вбил себе в голову и как-то за воскресным обедом настоятельно советует г-ну Мане записать Эдуара на дополнительные уроки рисунка, которые проводятся в коллеже Роллен.



Франсиско Гойя. Махи на балконе.



Франсиско Сурбаран. Портрет Брата Сумел Франсиско.

Как? Уроки рисунка? Г-н Мане живо встрепенулся. У него три сына. Для каждого из них давным-давно уготовано жизненное поприще. Эдуар и Эжен будут судьями, Гюстав – врачом. Рисунок! Чем может помочь рисунок в жизни Эдуару Мане? Пусть лучше ему об этих глупостях и не заикаются. А Эдуару следовало бы уделять больше времени урокам и школьным заданиям. Дядюшка – а он недавно получил чин подполковника – больше к этому разговору не стал возвращаться. Просто через несколько дней, оставив без внимания доводы зятя, он отправился в коллеж Роллен и попросил г-на Дефоконпре записать Эдуара на дополнительные уроки рисунка. Платить за них будет он сам, подполковник.

Уроки эти – Антонен Пруст их тоже посещает – не слишком вдохновляют Эдуара. Это академизм чистой воды. Копии с какого-нибудь рельефа, а еще чаще – с гравированных репродукций. Эдуара одолевает зевота. При первой же возможности он старается «ускольз-

нуть в гимнастический зал»²¹. Этот четырнадцатилетний мальчуган имеет собственное мнение о живописи и рисунке. Он только что втихомолку прочел, пока г-н Валлон вел урок, «Салоны» Дидро. «Если одежда народа изобилует мелочными подробностями, искусство может пренебречь ею». Эдуар прочел Прусту эти слова. «Вот, право, глупости, – сказал он ему, – в искусстве следует всегда принадлежать своему времени, делать то, что видишь, не беспокоясь о моде».

Сам он делает в рисовальном классе только то, что видит. Бог с ними, с гипсами, которые велено сейчас тщательнейшим образом воспроизвести на бумаге, – лучше он сделает несколько портретов своих товарищей. Вскоре многие начинают подражать его примеру. Пруст, конечно, в первую очередь. Учитель рисования в ярости, он бьет тревогу, жалуется заведующему учебной частью, а тот составляет рапорт г-ну Дефоконпре.

Вначале г-н Дефоконпре приказывает отстранить непокорных учеников от занятий на целый месяц. Затем он меняет решение, зовет виновных в свой кабинет, «отечески» их поучает и, взяв с них обещание «отныне точно копировать модели», отменяет наказание. Виновные из всех сил стараются продемонстрировать свое раскаяние и «возможно точнее перерисовывают три фигуры, награвированные с картины барона Жерара, где изображен въезд короля Генриха IV в добрый старый Париж в 1594 году»²².

А дела идут все хуже. Г-н Дефоконпре вынужден признать очевидный факт: Эдуар послушен, но тем не менее легкомыслен, он или вообще не работает, или работает плохо. Вместо того чтобы прилежно заниматься, все время рисует в тетрадах. Поборов природную кротость и страдая от мысли, что он причинит семейству Мане такое огорчение, г-н Дефоконпре решает уведомить обо всем этом родителей. Г-н Мане вне себя. Если Эдуар немедленно не наверстает упущенное, ему несдобровать! А для начала, невзирая на удручающие отметки, он в октябре пойдет прямо в третий класс, минуя таким образом четвертый.

Между тем Антонен Пруст переходит из коллежа Роллен в пансион на улице Фоссе-С.-Виктор. Но время от времени друзья все-таки будут встречаться. Если служба не позволяет дядюшке Фурнье вести их в музеи, свидания подростков происходят на приемах, где они бывают вместе с мадам Мане. Мадам Мане любит общество. У нее красивый голос, она недурно поет и потому не упускает случая посещать другие салоны и светские рауты, особенно вызывающие большой интерес музыкальные утренники в доме графини де Спарр, который находится на площади С.-Жорж. Но Эдуар, обреченный на недельное затворничество в коллеже, тяготится этими приемами – очень уж они церемонны, а он юн и нетерпелив. Он предпочитает украдкой – в свои пятнадцать лет он робок, как девочка, – поглядывать на молодых женщин, прогуливающих в Тюильри или на Елисейских Полях (в то время «верхняя часть Елисейских Полей представляла собой отлогий склон, заросший необычайно красивыми деревьями; роща переходила затем в сады»)²³; торговцы и торговки предлагают там цветы, сладости и пирожные.

Эдуар переживает муки переходного возраста. Мальчику просто необходимо сейчас выплескивать физические силы. И конечно же его поведение оставляет желать лучшего. К лени, небрежению прибавляется какая-то неугомонность. Г-н Дефоконпре вынужден признать, что недоволен мальчиком; он считает, что у Эдуара «трудный характер». Уроки – «слабо», внеклассные задания – «слабо»; только по рисунку у Эдуара «очень хорошо». Г-н Мане бранит старшего сына. Исправится он или нет? Возьмется ли наконец всерьез за занятия? Давно пора подумать о будущем. Неужто он воображает, что из такого лентяя может получиться судья?

²¹ Antonin Proust, указ. соч.

²² Antonin Proust, указ. соч.

²³ Там же.

Эдуар что-то бормочет... Как? Г-н Мане не ослышался? Ну ладно, если уж на то пошло, то Эдуар прямо заявляет отцу: у него нет ни малейшего призвания изучать право. Он хотел бы... И произносит нечто из ряда вон выходящее: он хотел бы стать художником. Г-н Мане столбенеет. Он резко бросает сыну, что впредь не желает слышать ничего подобного. Но Эдуар упорствует. Отец и сын пререкаются: первый угрожает, второй плачет.

Г-н Мане не может поверить ушам – Эдуар не желает отречься от своих прямо-таки бессмысленных намерений. Ребячество! Мальчишеский бред! Вот результаты пагубного влияния дядюшки Фурнье! Это он внушил племяннику подобное сумасбродство. Г-н Мане так зол на шурина, что того и гляди вспылит. Стараясь хоть как-то образумить непокорного сына, он взывает к друзьям, к родственникам, к г-ну Пелла, наконец, декану факультета права, к метру Жюлю де Жуи. Эдуар любит отца, но и боится его; он плачет и все-таки не уступает. И не думает уступать. Всхлипывая, он говорит, что скорее убежит из дому, чем будет изучать право.

Невероятно – бунт. И кто бунтует? Мальчуган, прежде такой робкий, такой послушный, такой почтительный. Отец не может прийти в себя. Ну хорошо. Так вскрыем же этот гнойник, и чем скорее, тем лучше. Сам судья уступать не намерен. Ему доводилось переубеждать и не такие упрямые головы. Нет, он уступать не намерен – в самом крайнем случае, так уж и быть, он может пойти на незначительную уступку. Коль скоро Эдуар упрямится, то пусть он сейчас же, немедленно изберет себе карьеру по вкусу – за исключением, разумеется, карьеры «рапэна»²⁴.

Вместе с родителями Эдуар выезжает порою на дачу, в Булонь, на берег Ла-Манша. Море его влечет. В гимнастике он преуспевает. Поступить бы в Мореходную школу – глядишь, и не пришлось бы посещать ненавистный коллеж. Свойственная подростковому возрасту неуравновешенность усугубляет упорство Эдуара. И, не раздумывая долго, мальчик заявляет отцу, что станет моряком. Сам г-н Мане домосед, он привык к Парижу – решение сына не столько удивляет, сколько разочаровывает его. Уж если не магистратура, так хоть какая-нибудь служба по гражданскому ведомству; но вслух возражений своих он не производит. Пусть будет флот! Все лучше, чем богема, общество каких-то мазилок.

Возрастной предел для поступающих в Мореходную школу – шестнадцать лет. У Эдуара мало времени впереди – ему скоро исполнится шестнадцать. Поэтому уже в конце школьного года, то есть в июне 1847 года, он будет участвовать в этом конкурсе.

У ученика третьего класса – и ученика посредственного – мало шансов на успех. Тем более что занимается он по-прежнему вяло. По-прежнему манкирует изучением классических языков, а между тем они есть в программе конкурса; только математику учит как будто охотно. Результаты конкурсных экзаменов более чем неудовлетворительны. За сочинение по французскому языку он получил одиннадцать баллов; за сочинение по латыни – семь; от устных экзаменов, поняв, что сдавать их бесполезно, вообще отказался. «Он просто потерял время», – сказал один из экзаменаторов.

Провал постарались замазать²⁵. В июле следующего года Эдуар получает возможность еще раз испытать свои силы. В октябре 1847 года г-н Дефоконпре разрешает ему, пропустив следующий, очередной класс, перейти прямо в старший – пусть хоть это как-то поможет ему подтянуться.

А тем временем во Франции происходят важные события. После неурожая 1845–1846 годов наступает голод; недовольство июльской монархией еще усиливается; ее справедливо

²⁴ Рапэн (rapin) – ученик живописца. В представлении французского обывателя середины прошлого века «рапэн» – мазила, пачкун.

²⁵ До сего времени специалисты, изучающие жизнь Мане, о нем не знали. Приводимые мною сведения взяты из архивных материалов Исторической службы Морского министерства («Поименный список кандидатов, экзаменовавшихся для поступления в Мореходную школу. Год 1847»).

упрекают в противодействии всяческим реформам. Политические ораторы безостановочно обрушиваются на Гизо, министра Луи-Филиппа. В феврале 1848 года в Париже начинаются беспорядки. 24 февраля происходит революция; Луи-Филипп отрекается от престола. На следующий день провозглашают республику.

Преданный Орлеанской фамилии дядюшка Фурнье немедленно подает в отставку. Воспользовавшись этим предлогом, г-н Мане, осуждающий поведение шурина, ссорится с ним. Это разрыв – разрыв окончательный, «бесповоротный», как скажет сам Фурнье²⁶, мотивированный не только политическими симпатиями. Дядюшка Фурнье съезжает с улицы Пти-Огюстэн и удаляется в Понсель. Пройдут долгие годы, прежде чем Эдуар вновь встретится со своим крестным.

²⁶ Письмо Эдуару Мане от 1 октября 1855 года.



Франц Ксавье Винтерхальтер. Портрет Луи-Филиппа.

Отметки подростка вряд ли могли смягчить отношение г-на Мане к офицеру, возмнившему себя рисовальщиком. Риторика – «посредственно»; математика – «удовлетворительно»; история – «весьма поверхностно»... Что касается оценки «очень хорошо», полученной за рисунок, то для отца это хуже всякого порицания. Ученик Мане упорствует в своих так хорошо известных ошибках. «Прилежание и поведение: нам не удалось констатировать здесь никаких сдвигов». Имеет ли смысл при таком положении подавать на конкурс в Море-

ходную школу? В марте Мане узнал, что для тех юношей, которые будут в течение восемнадцати месяцев плавать на борту судна, принадлежащего государству, предельный возраст для поступления – восемнадцать лет. Эдуару это на руку: воспользовавшись изменением порядков, он не посылает документы на кандидатский конкурс²⁷.

Пока он с присущей ему беспечностью заканчивает старший класс, непрерывные общественные волнения во Франции вызывают новый взрыв. В июне в восточной части и в центре Парижа снова строятся баррикады. Чтобы собственными глазами увидеть события этих кровопролитных дней, Эдуар, не боясь «подвергнуться обстрелу», в сопровождении Пруста отправляется в предместье Сент-Антуан. Друзья видят, как несут на носилках смертельно раненного парижского архиепископа его преосвященство Аффра, пытавшегося предотвратить столкновение между правительственными войсками и восставшими.

Решения министерства по поводу очередного конкурса в Мореходную школу меняются. Девятого августа выносят следующее постановление: чтобы воспользоваться льготой – продлением срока поступления до восемнадцати лет, – кандидатам достаточно плавать двенадцать месяцев. Десятого октября – новое послабление: плавание может быть совершено на торговом судне: к тому же его можно заменить путешествием за экватор²⁸.

При сложившихся между г-ном Мане и его сыном напряженных отношениях плавание – единственный выход. Эдуар уедет. Неужели в тот момент он искренне верит, что станет моряком? Неужели не вспоминает о желании сделаться художником, из-за которого и воспротивился отцовской воле? Он продолжает рисовать. Но сейчас его привлекает главным образом перспектива большого путешествия. Оно так соблазнительно, потому что сулит свободу. Уехать – значит освободиться от отцовского давления.

Некий судовладелец из Гавра, узнав о последнем министерском постановлении, делает ловкий ход: он предлагает маменькиным сынкам, желающим поступить в Мореходную школу, пройти требуемую минимальную стажировку в наиболее благоприятных условиях. Принадлежащее ему судно «Гавр и Гваделупа» повезет их вместе с преподавателями за экватор, в Рио-де-Жанейро²⁹.

Эдуар записывается в число участников первого рейса. В самом начале декабря он уезжает из Парижа в Гавр; отец его сопровождает.

²⁷ Очень часто пишут, что Мане участвовал в конкурсе 1848 года. Однако это не так, что подтверждает «Поименный список» того года из архивов Исторической службы Морского министерства.

²⁸ «Официальный бюллетень Морского министерства», год 1848-й и «История Мореходной школы и заведений, ей предшествующих», написанная одним из бывших офицеров (Maison Quantin, Paris, 1889).

²⁹ Начинание это было справедливо подвергнуто строгому обсуждению. «Во время этого увеселительного плавания, – пишет бывший офицер, автор упомянутой выше „Истории Мореходной школы“, – больше покуривали трубку, чем думали о программе конкурса; по возвращении очень немногие попали в число учеников школы; но так как им еще не исполнилось восемнадцати лет и у них еще оставалось про запас время, то большинство в конце концов поступило».

II. Бухта Рио

То была смутная пора, когда уходит ночь и сводит свои счета дьявол.

Андре Жид. Фальшивомонетки

Стоя на якоре в последнем портовом доке прямо перед выходом в открытое море, «Гавр и Гваделупа» – капитан Бессон – ждал попутного ветра, чтобы уйти в рейс.

На набережной все время толпились зеваки, разглядывая учеников, уже получивших морскую форму: шерстяная рубашка, холщовая куртка и штаны, клеенчатая шляпа. Матрос, вооруженный ружьем и саблей, охранял вход на наружный трап. Среди ротозеев несколько заплаканных женщин – матери.

Эдуар не жалеет о том, что, побоявшись момента прощания, упросил свою не приезжать в Гавр.

В субботу 2 декабря он написал ей, чтобы несколько успокоить. Это было нетрудно, так как он просто восхищен, «удивлен комфортом», которым они – он и его товарищи – будут пользоваться. Нормандский судовладелец не обманул: он сдержал все свои обещания и даже сверх того. Парусник – «превосходное» судно, «одно из самых лучших в Гавре» – имеет не только самое необходимое, но отличается еще и «некоторой роскошью». Здесь есть даже салон с фортепьяно. Что касается еды, то она обильна и вкусна: каждый раз по два мясных блюда и десерт. А спит Эдуар в гамаке! Дело в том, что коек всего тридцать шесть, то есть меньше, чем воспитанников. В первые ночи Эдуару заснуть не удалось, но он быстро привыкнет. И вообще гамак создает некую живописность; в нем, пожалуй, вся прелесть морского путешествия.

Кроме воспитанников и преподавателей, «Гавр и Гваделупа» повезет в Рио одного или двух пассажиров – молодых людей – и небольшой груз различных товаров, где среди прочих – голландский сыр. Экипаж составляют двадцать шесть человек. Помимо этого, в подчинении у негра-стюарда имеется еще четыре юнги и пара новобранцев, взятых в услужение к воспитанникам. Эдуар возмущен грубым обращением с ними: «пинки в зад, кулачные удары, но это делает их дьявольски покорными, уверяю тебя. Наш стюард... их поколачивает». Воспитанникам тоже дано это право, но они будут от него всячески воздерживаться.

И все-таки «Гавр и Гваделупа» не семейный очаг. Офицеры хоть и «очень славные ребята», но бывают «строгими». Воспитанников предупредили, что если они провинятся, то подвергнутся дисциплинарному взысканию, применяемому к матросам, – иными словами, их незамедлительно закуют в кандалы. «Тут смотри в оба, можешь мне поверить».

Но даже это не омрачает настроения. Эдуар и его товарищи рады, что могут наконец окунуться в новую жизнь, так резко меняющую все их привычки, и потому ждут с нетерпением, к которому примешивается некоторое беспокойство, момента, когда будет отдан приказ об отплытии. Наконец погода становится благоприятной, и 8-го числа заканчиваются последние приготовления. Ставят паруса, поднимают на борт ялик, предназначенный для прогулок в бухте Рио. Остается только погрузить свиней и овец. Отплытие назначено на следующую субботу, на половину десятого утра.

Субботним утром г-н Мане подымается на борт «Гавра и Гваделупы» проститься с Эдуаром. «Я был счастлив, что он оставался со мной до самого отплытия; он был очень добр ко мне все это время», – пишет благодарный Эдуар своей «дорогой маменьке». Уж не покори ли его отец своей добротой?

«Гавр и Гваделупа» отходит от набережной. Столпившиеся на молу зеваки приветствуют судно; дав два пушечных залпа и подняв флаг, оно держит под парусами курс в откры-

тое море. Матери машут платками. Г-н Мане, разумеется, тоже здесь: вон тот цилиндр, различимый в толпе, возможно, принадлежит как раз ему. Как удачно, что судно вышло в море сегодня: г-н Мане успеет добраться до Парижа и попасть завтра, в воскресенье, 10-го на важные выборы. Человек, которого он так недолюбливает, честолюбие которого так его раздражает, домогается поста президента республики; человек этот – принц Луи-Наполеон Бонапарт.

Море прекрасно, небеса сияют. Чуть трепещет парус, но Эдуар не боится качки и необычайно горд, что переносит ее куда лучше товарищей – последние из-за морской болезни «крепко приклеились к гамакам». Один из его соучеников по коллежу Роллен, Мендревиль, очень страдает. Испытывая легкое презрение, Эдуар снисходительно посмеивается. Эти парни не моряки!

К восьми часам вечера, исполненный чувства глубочайшего удовлетворения от первого дня на борту, он замечает на горизонте свет далекого маяка. Последний знак, посылаемый землею Франции.



Луи-Наполеон Бонапарт (Наполеон III).

Опустилась ночная тьма. Но вот Эдуар ощущает, что ему того и гляди станет худо. Внезапно море становится беспокойным, начинает волноваться. Ветер крепчает. Свистят канаты. Стонут мачты. Судно скрипит. Вскоре буря уже свирепствует. От самоуверенности Эдуара не остается и следа. Как у всех новичков, у него сейчас екает сердце. Укрывшись в каюте, страдая от вида и запаха блевотины двадцати парней, которых бортовая качка шатает, опрокидывает, швыряет друг на друга, он спрашивает себя, чувствуя при этом, как его внутренности буквально переворачиваются, «кой черт послал его на эту галеру». Да, он любит

море, но разве мог он предполагать, что оно будет столь «неистовым», начнет вздыматься бушующими «горами воды» – волны с таким шумом обрушиваются на палубу, что невольно начинаешь думать о каком-то чудовищном катаклизме.

Увы! Это только начало испытаний. Пасмурное утро; безбрежные, кипящие пеной волны; корабль носит по ним как щепку, волны обрушивают на него гигантские стремительные водопады, хлещут, бьют по дну. Море не успокаивается ни вечером, ни ночью. Ни завтра, ни послезавтра. Буря продолжается несколько дней; она так яростна, что экипаж вынужден порою убирать все паруса. Увлекаемый ураганом, «Гавр и Гваделупа» более неуправляем. По выходе из Ла-Манша встречные ветры сбивают его с курса и гонят к берегам Ирландии.

Буря стихла только к пятнадцатому; с наступлением ночи ветер наконец переменился. Теперь судно может лечь на другой борт и, преодолевая пока еще сильные волны, взять нужный курс. Эдуар пришел в себя. Он с тоской вспоминает «тишину отчего дома» и, потрясенный недавно выпавшим на его долю испытанием, признается, что морским делом «сыт по горло». Теперь, когда погода установилась, его удручает монотонность вот такого существования. «Всегда небо и вода, всегда одно и то же, это отупляет».

Но едва корабль почистили, постирали белье и постели, ветер опять меняется, волны снова начинают сотрясать судно. Такая погода длится до 19-го числа, пока «Гавр и Гваделупа» не минует Бискайский залив. «Приходится только удивляться на этих парней, – восклицает Эдуар по поводу моряков. – Вопреки трудностям ремесла они всегда довольны, всегда веселы – хотя что за радость висеть на рее, когда она порой касается воды, или работать дни и ночи напролет, иными словами, в любое время дня и ночи; впрочем, все они ненавидят свое ремесло». Суждение, бесспорно, грешит излишней субъективностью.

С момента отплытия воспитанники так ни разу и не открыли тетрадей. Преподавателям еще сильнее нездоровилось. Девятнадцатого приступают к занятиям. Налаживается распорядок дня. Встают в половине седьмого утра, укладываются спать в девять часов вечера; утром занимаются математикой, после полудня – литературой и английским. Эдуар радуется урокам: монотонность корабельной жизни его угнетает. Море и небо! Небо и море! Все дни одинаковы, с той только разницей, что сегодня море беспокойнее, а завтра тише. Смотреть не на что. Развлечься нечем. Вот разве незначительные происшествия, приобретающие на фоне этого однообразия значимость событий: то командир подстрелил какую-нибудь птицу – чайку или нырка, которые летают вдали от берегов; то попытались поймать тунца, но безуспешно; то встретился португальский бриг – заметив «Гавр и Гваделупу», шедшего на всех парусах, он решил, что его будут преследовать, и рванулся что было сил... «Гавр и Гваделупа» поднял флаг, на бриге успокоились, к нему подплыла шлюпка с лейтенантом и тремя матросами, передавшими португальцам несколько писем, адресованных во Францию, и кое-какие гостинцы. Португальцы были им чрезвычайно рады: «У несчастных почти иссякли съестные припасы. Выйдя из Нью-Йорка, они пробыли в море целых двадцать два дня, восемь дней провели в дрейфе; теперь они возвращаются в Порто – он находится от нас на расстоянии ста двадцати лье».

Какая тоска – длинные, бесконечно длинные дни, а теперь еще и дожди начались. Командир старается развлечь учеников. Вечером он откупорил несколько бутылок шампанского. После обеда заставляет их петь хором: все собираются в каюте и оттачивают свое вокальное мастерство по методике Уилхэма, очень тогда модной. Ну а по случаю Нового года конечно же организуется «шумное застолье», оно длится до четырех часов утра.

Извлеченные из командирских запасов сигары, шампанское и знаменитое савойское печенье на какое-то время заставляют забыть о скудном пайке, которым вот уже несколько дней вынуждены довольствоваться ученики. Затянувшееся плавание почти поглотило съестные припасы: вместо хлеба выдают морские сухари. Ученики «в ярости». Все в их очаровательном путешествии неудачно. Вот, например, Мендревиль – он, как, впрочем, и мно-

гие другие, так и не смог привыкнуть к бортовой качке и вынужден все время проводить в постели. А теми, кто здоров, офицеры просто помыкают. «Помощник капитана... форменный грубиян, эдакий морской волк, который обходится с нами весьма круто, а уж ругается – хуже некуда». Все неудачно. Хоть бы «Гавр и Гваделупа» доплыл до Мадейры! «Какое счастье видеть землю! Как давно мы об этом мечтаем!» Рано поутру 30 декабря на горизонте показался гористый остров Порто-Санто – до Мадейры от него двадцать пять миль. Но напрасно лавирует «Гавр и Гваделупа», ветер все равно не благоприятствует ему, и, оставив надежду пристать к островам, он вечером 31-го числа снова берет курс к Африке.

Длинные, бесконечно длинные дни. Эдуар рисует. Он вынул карандаш – что может быть естественнее. Рисует, фиксируя свои впечатления, передает движение, силуэты, изображает лица матросов и товарищей. Наброски идут по рукам. Ого! Прямо талант – похоже, а к тому же еще и шаржировано. Офицеры, преподаватели – все хотят заполучить для себя «карикатуру». Сам командир под предлогом новогоднего подарка обратился с подобной просьбой. В благодарность он приглашает Эдуара за свой стол. Днем Эдуар часто забирается на капитанский мостик и, всматриваясь в горизонт, который то подымается, то опускается, думает о чем-то – о чем? О каких тайнах моря? Как изобразить небо? Ночью его можно найти на корме, где он любит играть бликов света и тени на бурлящей за бортом воде. «Гавр и Гваделупа» входит в теплые, хотя по-прежнему беспокойные воды. Временами море словно фосфоресцирует. «Нынче вечером казалось, что корабль рассекает огненные волны: это было очень красиво».

Солонина, безвкусная вода. Эх! Если бы можно было бросить якорь у Канарских островов – вот где запаслись бы свежим продовольствием, апельсинами! 6 января уже виден Санта-Крус-де-Тенерифе. Но подойти к нему снова не удалось, – и какая жалость! – то, что казалось почти раем, – снежная вершина Тенерифе, залитые солнцем ослепительно белые дома Санта-Крус остаются позади.

«Гавр и Гваделупа» запаздывает на восемнадцать дней. Ну наконец-то – пассатные ветры стали подгонять судно, и вот оно уже легко скользит по спокойному морю – где-то мелькнет кит, где-то стайка летучих рыб, а то дельфин или даже акула. С наступлением хорошей погоды занятия и тренировки возобновляются. Утром, на заре, Эдуар – марсовый на фок-мачте, другие воспитанники натягивают и отдают паруса. Идет урок фехтования. Но вот жара становится душливой. Все изнывает от жажды. Внезапно ветер стих. Мертвый штиль – «один из тех мертвых штилей, какой увидишь только под тропиками». Парус недвижим, недвижим посреди безбрежной голубизны небес и океана. Спустив лодку, ученики по очереди гребут – разнообразия ради катаются вокруг судна. Решительно, плавание под парусами – унылое занятие!

Только буря может развеять «тоскливое состояние», сковавшее «Гавр и Гваделупу». Она и разразилась 16 января. 20-го корабль подходит к экватору – там виднеется еще восемь судов, так как «обычно экватор переходят под одним и тем же градусом».

Ученики томятся в предвкушении традиционного праздника, отмечающего переход через экватор. Праздник этот будет продолжаться сорок восемь часов. После «крещения» – «наконец-то мы стали моряками» – остается всего двенадцать дней до прибытия в Рио-де-Жанейро. «Гавр и Гваделупа» спешно прихорашивается – его в очередной раз красят. Обследова трюмы, капитан Бессон обнаружил, что сыры, составляющие важную часть груза, за время плавания сильно пострадали – во время шквалов корка их обесцветилась. «Раз вы художник, – сказал он Эдуару, – освежите-ка эти сыры». Эдуар тотчас повиновался. Он еще никогда не держал в руках кисти. Вооружившись кисточкой для бритья, он от души веселился – «черепа» получают свой первоначальный оттенок. Он вполне удовлетворен тем, что называет своим первым «живописным опусом».

После двух месяцев в море «Гавр и Гваделупа» стал на рейд в Рио-де-Жанейро в понедельник 5 февраля.

Для выполнения формальностей командир и офицеры свободно сходят на сушу, но ученикам это пока запрещено. Изнывая от скуки, Эдуар разглядывает бухту, военные корабли разных национальностей, тоже ставшие тут на якорь, горы, покрытые сплошной зеленью. Идет дождь. Единственная радость: вода, мясо, фрукты – все теперь свежее. Каждый день шлюпка привозит на борт бананы, апельсины и ананасы.

Ученики должны были сойти на берег в четверг, но приказ отменен. Бухту Рио, обычно вызывающую у путешественников потоки лирических излияний, Эдуар находит всего лишь «очаровательной». «У нас достало времени на нее налюбоваться!» – восклицает он. Наконец в воскресенье ученики получают разрешение посетить город.

Еще в Париже некто Ребуль снабдил Эдуара рекомендательным письмом к проживающему в Рио семейству Лакаррьер. Старший сын Лакаррьеров Жюль находит Эдуара и ведет к своей матери на улицу Увидор. Там начинающий моряк с аппетитом завтракает и обедает, он очень тронут оказанным ему теплым приемом³⁰. После полудня новый друг показывает Эдуару Рио.

В те годы город еще не начинали перестраивать – это случится позже и основательно изменит его облик. Какой разительный контраст между созданием рук человеческих, оставляющим впечатление «печальное, жалкое и грязное»³¹, и великолепием природы, красотой бухты. Канализация в Рио отсутствует. Улицы узкие, плохо замощенные, дурно пахнущие. Так как бразильцы днем почти не выходят из дому, то на улицах видишь преимущественно черных рабов. Между прочим, они составляют здесь львиную долю населения – торговцы неграми привозят их сюда из Африки от двадцати до сорока тысяч в год³². Они босы, так как обувь им носить запрещено; их одежда сводится к холщовым штанам да еще иногда куртке, надетой прямо на голое тело. Они спорят, кричат, шныряют среди товаров, бочек, загромаживающих улицы; сгибаются под тяжестью непомерной ноши или тянут скрипучие телеги, называемые здесь «кабруэ», толстые колеса которых «похожи на круглый, продырявленный в середине стол»³³.

Этот «довольно уродливый» город и чаровал, и отталкивал Эдуара. Рабство его просто возмущает. Бразильская милиция кажется «прекомичной». Дворец императора он называет «настоящей лачугой». Церкви оскорбляют его взор обилием вызолоченных украшений. Но для «европейца и немножко художника» город этот отмечен «печатью неповторимого своеобразия». И разумеется, он необыкновенно живописен – он будоражит любопытство разнообразием местного населения; обликом улиц, где можно увидеть не только omnibuses, запряженные мулом, но и паланкины; нравами аборигенов, особенно бразильянок, «причесанных в китайском вкусе», чьи глаза и волосы «изумительно черные», – почти все они очень красивы и почти все выходят замуж в четырнадцать лет, а бывает, и раньше, и не рискуют показываться на улицах поодиночке – как правило, днем они прячутся за ставнями в домах, и если замечают, что на них смотрят, то сразу же отходят от окна, но вечером, после пяти, ведут себя более непринужденно, позволяют любоваться собой.

В городе этом есть и еще нечто необычное «для европейца и немножко художника» – уразумел ли это Эдуар? – свет, раскаленный свет, делающий формы особенно четкими – без той приглушенности тонов, смягченности и неуловимости переходов, которые растворяют

³⁰ Но все равно удивлен тем, что «очутился в лавке»: ведь мадам Лакаррьер – эта та самая «модистка», слова Эдуара о которой цитировались в первой главе.

³¹ Max Radiguet, *Souvenirs de l'Amérique espagnole*. Paris, 1856.

³² Рабство было окончательно уничтожено в Бразилии только в 1890 году.

³³ По словам Макса Радиге.

линии под небом Парижа. Глаза Эдуара впитывают чистые сочетания красок, отчетливые тени, резко обозначенные, лишенные полутонов, валеры.

Этот свет – ах! – как играет он на черных телах. Они-то и придают городу его «колорит», его необычную прелесть. Эдуар находит негритянок «в общем безобразными», но ему не удается отрешиться от них мыслями или взглядом. Впрочем, признается он, изредка попадают и «довольно хорошенькие». К тому же они умеют «искусно укладывать свои курчавые волосы», а некоторые прячут их под тюрбаном. Красивые? Безобразные? Они волнуют подростка, отталкивают и гипнотизируют, вызывая из потаенных глубин какие-то смутные, необъяснимые чувства. Их юбки, обшитые «чудовищной величины воланами», колышутся при движении, на их шейках подросток замечает небрежно повязанную косынку, то скрывающую, то обнажающую грудь. Свет играет на коже цвета эбенового дерева, на дряблой груди старых негритянок, на упругой, влекущей взор груди молодых чернокожих Венер.

Голландский сыр продали тотчас же по выгрузке. Жители Рио, а особенно рабы, так рьяно на него набросились, что съели даже корки.

Спустя несколько дней по городу разнесся слух о нескольких случаях заболеваний холерой. Желая пресечь панику, власти публично заявили, что это вовсе не болезнь, а отравление недозрелыми фруктами. Но Эдуар-то догадывается, в чем истинная причина заболевания, капитан Бессон тоже – краска, с помощью которой сырам вернули их аппетитную привлекательность, содержала свинец. Но – молчание! «Скромность в торговых делах – гарантия успеха.

Я помалкивал, и правильно делал, – признается Мане позднее, – ибо с тех самых пор капитан проявлял от отношению ко мне исключительное внимание. Уж кто-кто, а он не стал бы задавать вопроса, талантлив ли я. Он в этом не сомневался».

Не сомневался настолько, что, отчаявшись заполучить в Рио учителя рисования для вверенных ему учеников, он поручил эту роль Эдуару.

Хотя новая должность Эдуару, несомненно, льстит, он до предела раздражен вынужденным заточением. За два месяца стоянки в Рио ученикам было разрешено сходить с корабля только по четвергам и воскресеньям. Видеть перед своим носом землю, жалуется Эдуар, – и не иметь права ступить на нее! А когда на несколько дней зарядят дожди, «что может быть тоскливее дождя, если ты на борту?»

После первого выхода на берег – экскурсии за город, состоявшейся в четверг, в воскресенье ученики посещают Рио. Воскресенье это падает на 18 февраля, то есть на воскресенье масленицы, когда в торжественной обстановке открывается трехдневный карнавал – «intrudes». Веселье тогда затопляет город.

Необычайное зрелище. Юные воспитанники с «Гавра и Гваделупы» едва верят своим глазам. Кто мог предположить, что бразильянки, еще на прошлой неделе красневшие от одного приветливого взгляда, способны на такие рискованные забавы?

Истомившись за год в домашнем затворничестве, а в лучшем случае изнемогая от постоянного и строжайшего надзора, они с каким-то неистовством отдаются краткому веселью трехдневного праздника. В это воскресенье они уже с трех часов у окна, на varandas или у двери – белое платье, алый цветок за корсажем – и, высмотрев среди проходящих мимо мужчин тех, кто им нравится – негры, само собой разумеется, не в счет, – кидают в них маленькими разноцветными шариками, слепленными из воска, – их называют здесь «limoes de cher» – «гранаты-завлекалки», которые, попав в цель, лопаются, распространяя вокруг запах дешевой парфюмерии (внутри этих «гранат» ароматизированная жидкость). Это больше чем избрание, это приглашение, и каждый отмеченный таким образом мужчина имеет право поцеловать женщину прямо в губы. Женщины тоже становятся мишенью «limoes de cher» – ведь, находясь на улице, мужчины хотят обратить на себя внимание, стать, в свою очередь, избранными жертвами красавиц.

Эдуар и его товарищи веселятся до шести часов вечера, когда забавам этим приходит конец³⁴. «Я набил „гранатами“ полные карманы и отражал удары как мог», – напишет Эдуар матери, не слишком распространяясь по поводу подробностей самого праздника.

Пружинящая легкая походка, правильные черты лица, светлый тон кожи, успевшей за время восьминедельного морского путешествия покрыться легким загаром, живой взгляд, красиво очерченный рот, складывающийся в насмешливую улыбку, – Эдуар более чем привлекателен. Можно не сомневаться, что прекрасные *senogas* жаждали попасть «гранатой» в этого голубоглазого белокурого парижанина. Можно, бесспорно, не сомневаться и в том, что он тоже, пылая от смущения, не упускал okazji прикоснуться губами к ротику бразильских шутниц.

Что с того! Вскоре в письме к кузену Жюлю де Жуи появятся горькие в своей неосознанной безнравственности фразы о бразильянках. Они вовсе не заслуживают легкомысленной репутации, приписываемой им порою во Франции, скажет он, нет существа более ханжески-добродетельного и глупого, чем бразильянка.

Распущенность нравов в дни карнавала оказалась всего лишь показной. Это было притворство – прикрываясь им, женщины целых три дня тешились иллюзией свободы, изображая независимость от постоянного надзора, на который обрекали их местные нравы. Но если юные морячки пытались добиться чего-то большего, их незамедлительно ставили на место. Отсюда их досада. Отсюда и досада Эдуара. Они считают себя обманутыми.

Взбудораженные, оглашая окрестные улицы громкими криками, они слоняются по городу. Вечером они ненадолго заглянут на костюмированный бал, «скопированный, – как отмечает Эдуар, – с балов в парижской Опере», куда отваживаются явиться переодетые негрятки в масках и длинных перчатках, но покачивающаяся походка сразу выдает их. Морячкам здесь задерживаться недосуг. Где-то там, в отдаленных от центра кварталах, в свете ночи вспыхивают огни иллюминации. Не допущенные на праздник белых, негры танцуют под звуки варварской, навязчиво-синкопированной музыки. Взвиваясь в небо, тысячами звезд лопаются шипящие петарды. И вот уже неистовый бешеный вихрь черных тел и ритмические хлопки окружающих, аккомпанирующих пляске, завладевают Эдуаром и его спутниками.

Видение какого-то иного мира. Где-то за тысячи километров, в тихой квартире на улице Птиз-Огюстэн, тикают часы Бернадота. Необычная, фантастическая ночь. Эдуар растворяется в ней, музыка завладевает им, возбуждает, стесняет дыхание. Порой танцующие с напряженными лицами, запыхавшиеся негры и негрятки касаются его тела. Запах кожи мешается с ароматом цветущих гранатов. Тела трепещут, приближаются, исчезают. На блестящей от пота шее негрятки вспыхивают отблески полыхающих вокруг костров...

...И когда на небе начнут затухать первые звезды, скованный небывалой усталостью Эдуар познает первую любовь, олицетворением которой станет темное, как ночь, лицо рабыни из Рио.

Вероятно, капитан Бессон был не слишком доволен опрометчивой авантюрой, принятой Эдуаром и его товарищами в воскресенье на масленицу. Он должен был самым серьезным образом отчитать их, объяснив, чем они рисковали, – ведь многие негрятки в Рио-де-Жанейро больны люэсом (сифилисом). Известно ли им о жутких последствиях этого заболевания? Минутное увлечение может искалечить всю жизнь, превратить ее в нескончаемо мучительные годы страшнейшего наказания: спинная сухотка, двигательная атаксия...

³⁴ Они исчезнут окончательно только в 1854 году, когда их заменят кавалькадами, парадом колесниц. Восходят они к очень древнему времени. Некоторые фольклористы приписывают им мифологическое происхождение.

Карнавал в Рио продолжается. Но ученики его больше не увидели. Капитан Бессон вовсе не желал лишать их свободы, однако теперь они стали гулять только за городом. Лодки отвозили их на другую сторону бухты.

Словно в память о карнавале, Эдуар делает тушью портретный набросок одного из товарищей. Одетый в костюм Пьеро, Понтийон жестикулирует и производит впечатление не совсем трезвого. В рисунке чувствуется живое увлечение автора³⁵.

Во вторник, последний день карнавала, воспитанники, вместо того чтобы побывать в Рио, отправились на загородную прогулку. Эдуар получил разрешение в пятницу снова поехать за город. Весь конец недели, вплоть до вечера воскресенья, он провел там вместе с тремя товарищами и тремя бразильцами. Компания посетила остров Пакета и даже рискнула наведаться в девственные джунгли Тижука.

Поразительно дикая, нетронутая природа. Эдуар потрясен. Среди цветов порхают яркие колибри. Корни деревьев опутаны лианами, с веток спускаются орхидеи. В траве медленно ползают насекомые, сверкающие как драгоценные камни. Бойся этого, Эдуар! Эта обольстительная природа подобна негритянке из Рио, и в источаемое ею сладострастие подмешан яд. В зеленых чащах прекрасного Эдема повсюду прячутся змеи. Местные жители их очень боятся. Спасительный страх. Благодаря осторожности несчастья случаются реже – ведь укусы гадюки или гремучей змеи оказываются порой смертельными. Эдуара предупредили об опасности. Неужели он все-таки оказался неосторожным? Так или иначе в воскресенье, когда восхитительный отдых близился к концу, какая-то гадина укусила его в левую ногу.

Эдуар не на шутку страдал, нога распухла «ужасно», и потому его поторопились отправить на борт «Гавра и Гваделупы». Две недели он не покидал корабля.

Дождь.

Выздоровливающий Эдуар с грустью смотрит, как на бухту извергаются сплошные унылые потоки воды – такие ливни бывают только в тропиках. В результате всех этих бразильских походов у него прескверное настроение. «Не так уж и весело было нам на этом карнавале», – недавно написал он брату Эжену. «Мне на рейде не слишком повезло», – скажет он еще и добавит, скорее всего затем, чтобы намекнуть на выговор, полученный от командира судна: «Меня довольно грубо отчитали. Сколько раз я хотел бежать с корабля».

Но куда сильнее, чем «сбежать с корабля», ему хотелось бы возвратиться во Францию. Ах, Париж! Дома, улицы, небо Франции! Когда он их увидит – «Гавр и Гваделупа» снимется с якоря не раньше чем через месяц, – во Франции будет уже лето, и как раз придется держать экзамены в Мореходную школу.

Эдуар вздыхает. Меланхолично глядит на бухту, горы, на Сахарную Голову, на хребет Органос и Божий Перст, на лазурное небо, где во время дождя появляются сероватые оттенки, напоминающие ему сфумато Леонардо, картинами которого он некогда любовался в Лувре³⁶ вместе с дядюшкой Фурнье. Мореходная школа! Моряк! Что удалось ему приобрести в итоге этой экзотической эскапады – страдания, унижения да тревогу, порой при воспоминаниях о карнавальной ночи безотчетно сжимавшую сердце. Не захочется ли ему стать таким же домоседом, как и его отец? Во всяком случае, в письме к брату Эжену он бросает вскользь: «Я не рассчитываю поступить в этом году; на борту корабля куда беспокойнее, чем на земле...»

³⁵ За исключением нескольких рисунков, обычно не упоминаемых в каталогах, «Пьяный Пьеро» является первым датированным произведением Мане.

³⁶ Louis Pierard. Manet l'Incompris. Paris, 1944.

III. Сюзанна

*...Соедините только в каждой роли
Воображение, чувство, ум и страсть
И юмора достаточную долю³⁷.*

Гёте, Фауст

Когда Эдуар распаковал вещи – «Гавр и Гваделупа» прибыл во Францию 13 июня, – г-н Мане, с любопытством рассматривая трости, специально вырезанные для него в девственных джунглях Бразилии, вынужден был обратить внимание на многочисленные рисунки, сделанные его сыном за время поездки.

Слепому ясно, что Эдуар не столько рад проделанному путешествию, сколько тому, что очутился наконец дома, на улице Птиз-Огюстен. В Эдуаре не чувствуется ни малейшей радости, он скорее грустен. Да, он рассказывает о поездке, но без всякого воодушевления. И это будущий моряк? Г-н Мане скептически и не без некоторого беспокойства взирает на сына.

Мать, пораженная тем, как он изменился за шесть месяцев, тоже чувствует какую-то неясную тревогу. Он ходит вразвалочку, размеренно – так ходят все моряки. Он похудел. Подросток семнадцати с половиной лет превращается в мужчину.

Конкурсные экзамены в Мореходную школу начинаются 5 июля. Г-н Мане загодя включил сына в список. Но Эдуар на экзамен не явился³⁸. Зачем? Ведь у него еще целый год впереди... Кроме того... как бы это объяснить?... Ну да ладно, дело в том, что профессия моряка ему больше никак не улыбается. Мыкаться по всему свету между небом и водой – право, у него нет никакой склонности к этому. Мало-помалу, осмелев, он начинает изъясняться яснее. Раньше он считал, что это поприще устраивает его вполне, и честно к нему готовился, но, к сожалению, он мало тогда о нем знал, как, впрочем, и о самом себе тоже. Но за долгое время морского путешествия он все обдумал.

Обдумал и вот теперь... Пусть отец не сердится! Ему, Эдуару, подходит только одно – профессия художника. Когда два года назад он заявил об этом, то конечно же был еще слишком молод, неопытен. И то, что к этому отнеслись тогда как к детскому капризу, вполне естественно. Но это был не каприз. Как он жалеет теперь (и сейчас, быть может, его пронзает воспоминание о чернокожих плясуньях из Рио), что устроил бунт, не смог объяснить, чего ему хотелось, не нашел убедительных доводов. Но разве был он тогда на это способен? Желание таилось где-то внутри, неосознанно... Теперь же он знает твердо: если желание стать художником не осуществится, жизнь потеряет для него всякую прелесть.

Г-н Мане слушает сына. Его ведь тоже одолевают сомнения. Было бы странно надеяться, что Эдуар выдержит конкурсные экзамены. Он явно не создан для серьезных занятий. Даже к чтению относится теперь с прохладцей. Г-н Мане качает головой. Что ж, если Эдуар считает, что может преуспеть в живописи...

Г-н Мане навел справки. Он допросил своего приятеля по имени Шарль Блан – после революции 1848 года Блан, республиканец по политическим убеждениям, возглавил администрацию изящных искусств. Блан объяснил ему, что вопреки распространенному у отцов семейств мнению, возникшему благодаря «Сценам из жизни богемы» Анри Мюрже, профес-

³⁷ Перевод Б. Пастернака.

³⁸ «Поименный список кандидатов...», год 1849-й (архив Исторической службы Морского министерства).

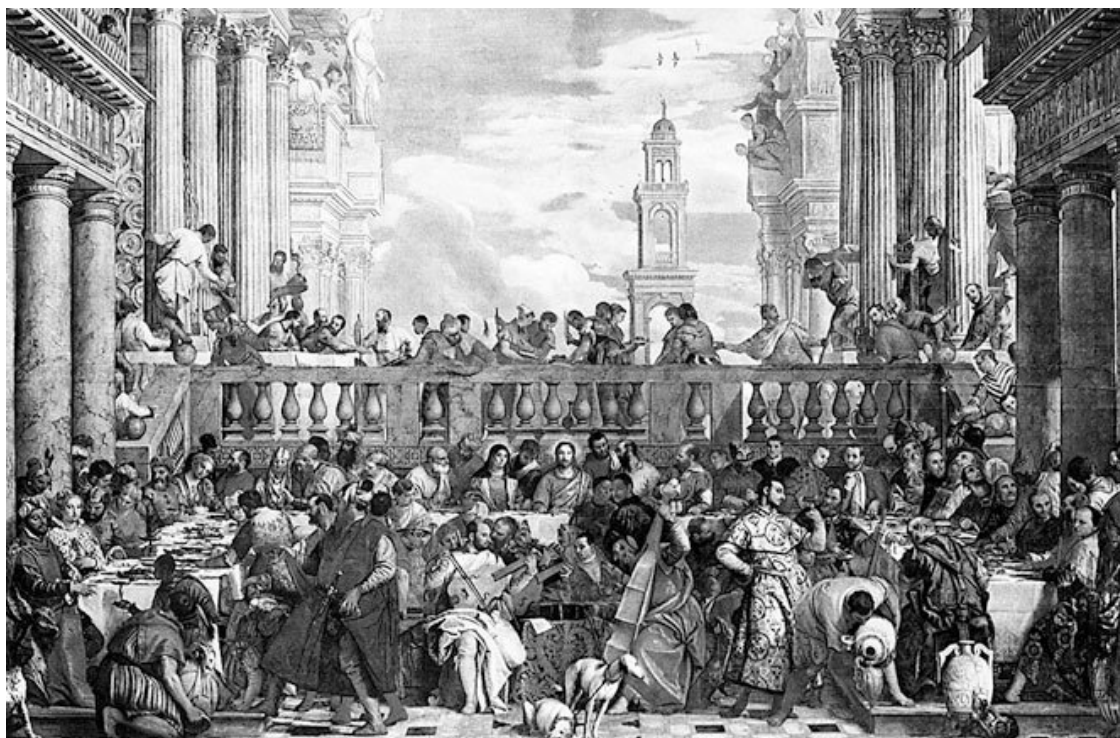
сия художника – дело вполне достойное, если, конечно, заниматься им всерьез. Дело трудное, не гарантированное от случайностей, но вознаграждающее усердных в соответствии с их заслугами как деньгами, так и почестями. В настоящее время эта профессия регламентирована почти так же, как судейская или военная. Постепенно живописцы достигают более или менее высокого положения, подымаются – кто быстрее, а кто медленнее – по ступеням иерархии в искусстве. «Продвижение» отмечается наградами, присуждаемыми в Салонах, – почетные отзывы, медали III, II и I класса; самые почитаемые заслуживают чести быть избранными в Институт.

Так это то, чего Эдуар хочет? Если он выбирает такое поприще, то пусть всячески старается сделать карьеру, стать художником почтенным, достойным государственных заказов и внимания со стороны богатых меценатов. Все ли ему ясно? Поприще это вовсе не предлог для оправдания лени: разве не смешны все эти «рапэны», которые влачат нищенское существование, горланят в кафе, стучат кулаками по столикам, во имя искусства понося «буржуа»?

Эдуар уверяет отца в том, что мысли их совпадают. Ему доставляет такое удовольствие рисовать, что обмануться невозможно, да-да, он верит в свое призвание. Трудно загадывать на будущее, переоценивать свои способности, но отец может быть уверен: Эдуар сделает все, чтобы сначала овладеть мастерством, а потом рискнуть выставиться в Салоне. «Да будет так! – смягчившись, говорит г-н Мане. – Занимайся тем, к чему тебя тянет. Изучай искусство».

Г-н Мане предлагает сыну обратиться к Шарлю Блану и Мериме (судья знаком и с ним) – автору «Кармен», инспектору Исторических памятников – за рекомендациями, которые следует представить метрам из Школы изящных искусств. Школа эта находится в нескольких шагах от дома Мане, на той же улице Птиз-Огюстэн. Она представляет собой превосходный питомник художников, преподают в ней члены Института. А Эдуар туда поступать не желает.

Г-н Мане изумлен. Кому же можно в таком случае доверить обучение его сына? Ведь Школа изящных искусств – это учебное заведение; через него, как правило, проходят все художники. Однако молодежь сегодняшнего дня интересуется только одним-единственным художником. Это Тома Кутюр. Его огромная композиция «Римляне времен упадка империи» имела в Салоне 1847 года триумфальный успех. Картину эту сравнивали со «Браком в Кане Галилейской» Веронезе – порой не в пользу последнего, – и было нечто символическое в том, что во время Салона 1847 года она висела в Лувре как раз на месте итальянского шедевра. Сколько восторгов вызвали «Римляне» и у критиков и у публики! Автору – а ему всего тридцать один год! – присуждают золотую медаль I класса; государство приобретает его творение за двенадцать тысяч франков; уже со следующего года оно экспонируется в Люксембургском музее. Успех незамедлительно ставит Кутюра вровень с известнейшими мастерами своего времени, и он тотчас же открывает мастерскую, обучения в которой помогают не только французы, но и иностранцы. И Америка – а Кутюр для нее высокий авторитет, – и мюнхенская Школа изящных искусств посылают к нему самых одаренных.



Паоло Веронезе. Брак в Кане Галилейской.

Тома Кутюр пока еще не член Института. Это чуточку настораживает г-на Мане. Его смущает еще и то, что у Кутюра репутация художника чересчур смелого, в некотором роде даже революционного. Г-на Мане обуревают сомнения, его не устраивает выбор сына. Но в конце концов он уступает. Справедливости ради приходится признать, что Тома Кутюр живописец превосходный и репутация его такова, что коллекционеры ссорятся из-за самого незначительного наброска метра.

В январе 1850 года Эдуар поступает в его мастерскую.

«...А через некоторое время барон Гро мне говорит: если вы и впредь будете писать в таком же духе, то станете французским Тицианом».

Маленький, толстенький, с мясистой физиономией, на которой выделяются довольно густые брови и борода, Тома Кутюр – волосы небрежно отброшены назад, короткие ножки широко расставлены – разглагольствует посередине своей мастерской.

Эдуар, как, впрочем, и все остальные ученики, взирает на этого бога от искусства с нескрываемым благоговением. Сын бедного сапожника из Санлиса – сам говорит, что никогда ничего не знал и сейчас ничего не знает, образования не имеет, а вещи пишет просто непревзойденные.

Дважды в неделю Кутюр выходит из своей квартиры на улице Тур-де-Дам и отправляется к дому, расположенному на углу улицы Лаваль³⁹ и улицы Пигаль. Там, на первом этаже, его ждут по утрам ученики – от двадцати пяти до тридцати юношей, чтобы начать работу с живой натуры. Быстро, рассеянно, отпуская отрывистые замечания, он выправляет их эскизы, затем разрешает отдохнуть, закуривает и начинает вещать.

Говорит он только о том, что его в этой жизни интересует, – о самом себе и своем таланте: «Я считаю себя единственным по-настоящему серьезным художником нашей эпохи», – и еще о своих успехах, о годах ученичества у барона Гро, о портретах, которые ему, Кутюру, заказывали баронесса Астье де ла Вижери, маркиз и маркиза де Лезе-Марне-

³⁹ Сейчас улица Виктор-Массе.

зия, княгиня Салтыкова; или о своем незнатном происхождении, о своей необразованности, которой хвастается не менее охотно, чем своей известностью.

«Мне было десять лет, я едва умел читать, но зато превосходно рисовал буквы. Письмо было для меня просто рисованием. Смысл слов не имел никакого значения – просто вышивка, более или менее затейливая. Я часто пропускал буквы. Поэтому мои домашние задания были несколько неразборчивы. Помню, как я страдал, когда в церковной школе брат-настоятель исправлял мои ошибки – добавлял необходимые, с его точки зрения, буквы. Мне дали награду за хороший почерк, и тогда он произнес следующее (так и слышу его голос): „Этот осел от природы не научится читать свои писания и через многие годы“».

Речам маститого живописца внимают в глубоко почтительном молчании. Ведь ученики эти – его свита. Все им восхищаются. Успех, ослепительный и неожиданный, вскружил голову не только автору «Римлян», но опьянил и этих юношей. Кутюр – талант, дарованный самой природой, он воплощение смелости, славы, успеха, достигнутого в годы цветущей молодости. Разве не об этом мечтают все они?

Добившись права работать в ателье Кутюра, Мане почувствовал себя по-настоящему счастливым: еще бы, ведь он учится у человека, олицетворяющего собою живопись. Кутюр, упорнейший работяга (он бился над «Римлянами» три года), имел обыкновение возглашать: «Чтобы достичь мастерства, мне приходилось начинать эту картину не двадцать, а сотни раз», – секретами мастерства он действительно владеет. «Я не претендую на то, чтобы создавать гениев, – надменно произносит он, – но хочу сделать моих учеников мастерами своего дела». Ремесленник, поглощенный голой техникой, он и вправду эксплуатирует ее приемы так свободно, что пользуется репутацией смелого художника. Одно время, после самоубийства барона Гро в 1835 году, он учился у Поля Делароша, метра официального направления в искусстве («стиля трубадур», ехидно говорит Кутюр), но потом самым решительным образом от него отошел. Он ратует за строгость в отборе деталей, призывает работать обобщенными гибкими линиями и массами, предпочитает простые тона, не смешанные на палитре краски, «красочный слой сочный и тонкий, тщательно проработанный, четко отграниченный, с прозрачностью черных теней»⁴⁰. Но как только этот заносчивый метр берет в руки кисти, он становится само смирением. Оставаясь один на один перед творениями великих мастеров, внушает он, следует быть скромным. И тут же добавляет, что требования искусства велики и главное среди них – напряженный, упорный труд: «Пусть спина ваша в работе покрывается потом, как у святого Иосифа». И еще искренность. «Ищите, ошибайтесь, но прежде всего привыкайте быть искренними».

Мане внимает его советам, справедливость которых проверяет в залах Лувра. Он не обманул отца: получив возможность целиком посвятить себя рисунку и живописи, трудится не покладая рук. Помимо ежеутренних сеансов в мастерской Кутюра, посещаемых очень аккуратно, работает во второй половине дня в так называемой свободной академии (там есть натурщики, но нет исправляющего наброски педагога), устроенной папашей Сюисс в ветхом строении на набережной Орфевр на острове Сите; она открыта с шести утра до десяти вечера. Он рисует повсюду и везде. Иногда по воскресеньям отправляется в лес Фонтенбло и подолгу наблюдает, как пишут художники из Барбизона и Марлотта.

⁴⁰ Jacques-Emile Blanche. Manet. Paris, 1924.



Тома Кутюр. Римляне времен упадка империи.

Первый семестр 1850 года оказался для Мане необычайно плодотворным. Он не просто познает живопись. Он осознает свои собственные стремления. Живопись – его подлинная стихия. Он ощущает себя в ней с легкостью, недоступной товарищам. В сравнении с нарочитой небрежностью, эксцентричностью облика, принятой у многих учеников Кутюра и художников других ателье, он выделяется не только элегантностью, но еще и активностью, беспепелляционно четкой манерой защищать и обосновывать собственное мнение об искусстве. Снисходительный ко всему и над всем подсмеивающийся, он становится «бесконечно твердым», едва речь заходит о живописи. Возражать ему бесполезно: он этого не допустит. Его убеждения «четки, неоспоримы»⁴¹. Как быстро они в нем созрели!

В ателье много и страстно спорят. Споры продолжаются в кафе, где ученики Кутюра постоянно задирают учеников Франсуа Пико. Мастерская этого художника, олицетворяющего славу Института, наряду с ателье Кутюра самая модная в Париже тех лет. Мане никогда не упускает случая иронически задеть учеников господина Пико, да и Кутюра принимает теперь только с оговорками. Не то чтобы Кутюр потерял в его глазах престиж. Однако престиж этот его уже не ослепляет. Не прошло и шести месяцев, как Эдуар начал критиковать «патрона».

Писать только потому, что он «имеет сказать нечто», потому, что жаждет иллюстрировать огромными полотнами античные или мифологические эпизоды, Мане не хочет. Он хочет писать потому, что краски и формы доставляют ему невыразимое наслаждение. Это наслаждение носит чисто визуальный характер: оно изначально обусловило творческое призвание и само диктует теперь живописное восприятие. Ничего умозрительного, только инстинктивное. Мане не рассуждает, а если и рассуждает, то не слишком погружаясь в рефлексии. Да и способен ли он рассуждать? Его уму присуща скорее живость, чем глубина. Он только видит – видят его глаза. Но ведь эпоха, в которую он имел несчастье родиться, предпочитает живопись омертвевшую, превратившуюся в окостенелые догмы, исповедующую раболепное преклонение перед формами традиционно совершенными – с их помощью конструируют прекрасный идеал. Искусство перестало быть актом творения, превратилось в

⁴¹ Antonin Proust, указ. соч.

имитацию. Слепо подчиняясь условностям, оно становится бездушным, формальным, категорически исключающим живое видение. Надлежит писать не то, что видишь, а то, что видеть следует. Помимо некоторых художников, стоящих особняком или слывущих бунтарями, – самый известный среди них Делакруа («В нем есть что-то и от титана и от обезьяны», – говорит Кутюр), – живопись не имеет отношения ни к правде жизни, ни к правде внутреннего мира самого творца. Дерзость, проявленная автором «Римлян», чуть взболтнула рутину, утвердившуюся в технике, фактуре. Основных же принципов искусства она никак не затрагивает. Кутюр ведь тоже творит в полном согласии с безликим идеалом, ибо идеал этот – закон для эпохи. Отчего полным натурщикам он предпочитает худых? Да оттого, «что в последнем случае проще изучать структуру тела, а затем прибавлять к нему столько, сколько заблагорассудится; тогда как в первом случае мясо все скрывает и никогда не знаешь, что и как следует убавлять»⁴².

Мане строптиво фыркает: его раздражают противоречия между безапелляционными выкладками Кутюра и его собственным, неповторимо-индивидуальным видением. «Благородный сюжет» действует ему на нервы. Его влечет жизнь – оживленные улицы, выразительность естественных поз и движений. Ему кажется совершеннейшей нелепостью сидеть взаперти среди «натурщиков, манекенов, костюмов и аксессуаров», как все эти исторические живописцы, когда «за стенами мастерских есть столько живого». «Римляне»? Ха! С другой стороны, бразильское путешествие пробудило у него вкус к чистым тонам и краскам. Он считает «вымученностью», «кухней» то чрезмерное количество полутонов, с помощью которых моделируют форму и обеспечивают переход от тени к свету, но еще не понимает или понимает плохо, что имперсональность видения совершенно исключает непосредственность мазка и в конечном счете неизбежно обрекает художника на живопись «зализанную».

Импульсивный, насмешливый Мане вовсе не намерен скрывать свои убеждения. Чем дальше, тем откровеннее порицает он Кутюра. Эдуар рассказывает – шаржем он никогда не гнушается, – как впервые пришел в мастерскую, где ему было предложено копировать античный слепок, как долго вертел его в руках, а потом заявил: «Он кажется мне куда интереснее вниз головой». Ученики хохочут. Остроумные выходки этого жизнерадостного, да к тому же еще и такого умного юноши их развлекают. Пусть он зубоскал, пусть любит едкие сарказмы, пусть за плечами у него самые экзотические приключения – на самом деле он необычайно простодушен. Он еще ребенок – «всему удивляется, радуется пустякам»⁴³. Но это вовсе не значит, что он легкомыслен и всегда весел. Его настроение часто и резко меняется. Но ему прощают все. Шарм его неотразим, и многие поддаются его обаянию.

К тому же это широкая натура – у него можно всегда занять денег.

Белокурые волосы, молочный цвет лица, пухлые щечки, фарфоровые глазки, здоровое, крепкое тело фламандки, крохотные ручки, которые проворно порхают по клавишам фортепьяно, – такой была Сюзанна Леенхоф в свои двадцать лет.

Прекрасная пианистка, дочь органиста из Залт-Бомме, небольшого городка, расположенного на пути из Буа-ле-Дюк в Утрехт, эта юная голландка живет уроками музыки.

По определенным дням она приходит в квартиру на улице Птиз-Огюстэн учить Мане и его брата Эжена игре на фортепьяно.

Парни из мастерской Кутюра со свойственными молодости тщеславием и бесстыдством не видели ничего зазорного в том, чтобы рассказывать о своих любовных похождениях. Мане помалкивал. Он ни словом не обмолвился о своем романе с Сюзанной. Их отношения окружены тайной.

⁴² Ernest W. Longfellow. Reminiscences of Thomas Couture в «The Atlantic Monthly», август 1883 года (цит. по Джону Ревалду).

⁴³ Antonin Proust, указ. соч.

В перерывах между занятиями Мане – получить у отца разрешение выйти из дома вечером можно было только ввиду исключения – спешит на свидание в небольшую квартиру Сюзанны на улице Фонтэн-о-Руа.

Как-то в сентябре Мане совершенно случайно встречает Антонена Пруста – друзья уже давно потеряли друг друга из виду.

Антонен Пруст, отчего-то захотев обучаться живописи в роли любителя (его семья очень состоятельна, и никакая профессия ему, по сути дела, не нужна), недавно добился, чтобы его взял в ученики художник Ари Шеффер. Мане безмерно рад встрече со старым товарищем: он отговаривает Пруста от посещения уроков Шеффера и приводит в ателье Кутюра.

Жизнь становится такой же, как прежде. Друзья больше никогда не разлучаются.

Пруст с удовлетворением отмечает, как изменился Мане – последнему сейчас девятнадцать лет. Лицо, на котором посверкивают маленькие, но очень живые глаза, смягчено короткой белокурой бородкой. Довольно длинные, шелковистые, вьющиеся от природы волосы обрамляют лоб – на нем «уже появились залысины». Мане напрасно хочет двигаться небрежной походкой и растягивать слова на простонародный манер парижских пригородов – «ему не удастся казаться вульгарным». Морской загар сошел. Кожа снова стала «матовой, белоснежной». Что и говорить, юноша весьма привлекательный! И что – никаких любовных интрижек? Никогда еще Мане и Пруст не были так близки. Но ни ему, ни прочим своим товарищам Мане ничего не рассказывает о прелестной Сюзанне.

Как некогда во времена дядюшки Фурнье, Мане и Пруст посещают музеи. Однако – какая обида! – «испанский музей» в Лувре больше не существует. После отречения оборотистый Луи-Филипп с присущей ему деляческой дальновидностью потребовал, чтобы ему музей этот возвратили, и в результате коллекция картин целиком оказалась собственностью королевской семьи⁴⁴. Друзьям оставалась еще галерея маршала Сульта⁴⁵. Хотя испанские художники представлены теперь в Париже куда хуже, они по-прежнему завораживают Мане. Помыслы его устремлены к Пиренейскому полуострову. Среди всех экспонируемых в Салоне 1851 года картин его особенно восхищает полотно Альфреда Деоденка «Бой быков» – своеобразная «испанская страница»⁴⁶.

Кутюр же постарался внушить Мане любовь к тем мастерам, каких страстно любил сам, то есть к итальянцам. Мане в восторге от итальянских примитивов, от произведений Тинторетто и Тициана, «светонасыщенные тени» которых, вероятно, напоминали ему эффекты бразильской природы.

⁴⁴ «Испанский музей» был распродан в 1853 году в Лондоне.

⁴⁵ В 1852 году, то есть довольно скоро, она тоже исчезнет.

⁴⁶ Сейчас находится в музее города По.



Тициан. Венера Урбинская.

Каждое полотно рождает в его душе массу вопросов. Он пытается соотнести – и пока неумело – свои впечатления от музейных памятников с тем, чему его учит Кутюр, а также и с тем, что видит собственными глазами. Бессмысленность ничемных споров в мастерской, жалкие дискуссии между учениками Кутюра и Пико раздражают его до предела. «Природе наплевать на все это, – бросает он, не в силах больше сдерживаться. – Подумаешь! Пико уже член Института, а Кутюр нет. Но смог бы им быть. Это зависит от какой-то полудюжины тех, кому надо чаще или реже наносить визиты. Ну а нам-то что до этого?» С каждым днем Мане чувствует себя все более независимым от влияния мастерской Кутюра. Он подвергает сомнению метод художественного образования, практикуемый повсюду и везде. «Сам не знаю, зачем я здесь, – говорит он в раздражении. – Все, что мы тут видим, просто смехотворно. Свет фальшив, тени фальшивы. Когда я прихожу в ателье, мне кажется, будто я в могиле. Я прекрасно понимаю, что посреди улицы натурщика не разденешь догола. Но ведь существуют луга, поля, и хоть летом-то можно было бы писать за городом обнаженную натуру; обнаженная натура – это, пожалуй, альфа и омега живописного искусства».

Каждый понедельник, как только натурщики принимают позу – а с нее надо работать всю неделю, – Мане вступает с ними в пререкания.



Тинторетто. Происхождение Млечного Пути.

Натурщиками у Кутюра выступают очень известные профессионалы: это Жильбер Боковский, получивший прозвище Тома-Медведь за то, что великолепно имитирует рычание этого зверя (после того как в феврале 1848 года дворец Тюильри был разграблен, этот беспутный чудаковоселился в бывших королевских апартаментах), знаменитый Шарль-Аликс Дюбоск, вот уже около полувека работающий натурщиком, он был любимой моделью выдающихся мастеров эпохи – Давида, Гро, Жерико и конечно же Кутюра, которому позировал для многих фигур в картине «Римляне времен упадка».

Натурщики делают то, что их из года в год просят делать. Красивые и здоровые, сложением своим достойные резца Микеланджело, они взбираются на помост и принимают выигранные позы – грудь колесом, подтянуться, напрячь мускулы – в соответствии с той театральной осанкой, какой требует академическая условность. Вся эта напыщенность, фальшь для Мане просто невыносимы. «Вы что, не можете быть естественным? Разве вы так держитесь, когда отправляетесь купить пучок редиски у торговки зеленью?»

Уязвленные подобными замечаниями, натурщики сердятся. Необычайно гордые оттого, что позировали прославленным мастерам, они занимаются своей работой, убежденные, что и сами играют роль великих служителей искусства. Постоянно отираясь в мастерских, они стали немного разбираться в живописи и, нимало не смущаясь, высказываются по любому поводу. «Что-то тут у вас не вытанцовывается», – кидает какому-нибудь ученику Дюбоск, в перерывах прохаживаясь с трубкой в руке между мольбертами и рассматривая находящиеся в работе этюды. Он абсолютно голый, на нем только башмаки да монокль, но

это никого не смешит. «Хоть бы сегодня Дюбоск сказал, что у меня все-таки вытанцовывается!»

Неутомимый, готовый принять самую сложную позу, позирующий много и долго, Дюбоск накопил некоторое состояние. Упорно трудясь, отказывая себе во всем, он живет в лачугах, постоянно переезжая с места на место из-за своей подозрительности. Однако этому малоприятному человеку – брюзге, грубияну, становящемуся безжалостным в тот момент, когда он должен получить себе причитающееся, человеку, которого считают «старым псом, дрожащим над своими сбережениями», свойственна глубоко затаенная в душе нежность. Его называют бесчувственным, но эта бесчувственность – всего лишь оболочка. У Дюбоска нет ничего в жизни, кроме художественных мастерских. Ко всем этим молодым людям он относится словно дедушка. Он смотрит на них как на собственных детей, сочувствует бедности, в которой осуждены прозябать многие среди них – и надолго. Поначалу он экономил из страха перед нуждой; теперь копит деньги в надежде облегчить участь начинающих художников; никому не выдавая своего секрета, собирается преподнести накопленное им золото в дар Институту, чтобы каждый год молодым живописцам и скульпторам выдавали что-то вроде стипендии⁴⁷.

Вот почему Дюбоск принимает замечания Мане так близко к сердцу. Они оскорбляют не только его достоинство признанного натурщика, но и его глубоко скрытые чувства. Не меняя напряженно-героической позы, Дюбоск как-то поутру в понедельник заявляет Мане: «Г-н Деларош меня всегда хвалил, и, поверьте, выслушивать замечания от такого молодого человека, как вы, довольно трудно». – «Я не спрашиваю вас о мнении г-на Делароша, – резко отвечает Мане, – а высказываю вам свое собственное». Голосом, дрожащим от негодования, Дюбоск отвечает: «Г-н Мане, если бы не я, то многие художники так и не поехали бы в Рим». – «Мы не в Риме и ехать туда не собираемся, – возражает Мане. – Мы в Париже и давайте тут уж и останемся». Мане вне себя, он уходит, хлопнув дверью. «Ну что можно поделать с таким болваном!»

Вот почему он так любит бродить по улицам, схватывать на лету то, что видит там, фиксировать в блокноте мимолетные впечатления – «пустячок, профиль, шляпку»⁴⁸. Порою, заглянув в его альбом, товарищи вынуждены в десятый раз посоветовать: «Лучше бы тебе с этим покончить». Мане громко смеется. «Ты что же, принимаешь меня за какого-то исторического живописца?»

Отныне слова «исторический живописец» для него самое тяжкое оскорбление.

Было бы странно, если бы все эти выходки в конце концов не привели к ссоре с самим Кутюром. Она была неизбежна. Кто-то из недоброжелателей или особо дерзких передал «патрону» высказывания Мане, а скорее всего пожаловался Дюбоск. Кутюр рвет и мечет.

Он относится к этому ученику снисходительно, хотя подозревает, что тот строптив. Он часто его ругает, и, быть может, особенно резко как раз оттого, что мальчик этот ему нравится – непосредственный, пылкий, немного легкомысленный, конечно, горячая голова, но, несомненно, одарен очень. Способности Мане, живость его кисти вопреки всему выгодно отличают его от многочисленных, очень послушных, бесцветных и абсолютно посредственных юношей – Кутюр часто бранит их, бросая свысока: «Пытаетесь стать маленькими Кутюрами, что за дешевка – быть только маленьким Кутюром».

Однако постепенно Кутюр начинает терять терпение. Он принадлежит к той категории людей, которым достает характера преодолеть самые худшие трудности, но не хватает его, чтобы противостоять успеху, а это страшно, так как нет ничего проще оказаться околпачен-

⁴⁷ Дюбоск умер в 1877 году, оставив 180 тысяч франков золотом. Свой дар он узаконил 22 июля 1859 года. Воспоминания об этом любопытном человеке можно найти в книге: G. Crauk. Soixante ans dans les ateliers des artistes. Dubosc, modèle. Paris, 1900.

⁴⁸ Antonin Proust, указ. соч.

ным и окружающими, и самим собой. Когда в 1847 году к нему пришла слава, да еще сопровождаемая таким количеством дифирамбов, то все эти восторженные похвалы вскружили Кутюру голову. Теперь вселенная сводилась только к его персоне. Не сумев здраво оценить обрушившийся на него успех, Кутюр замкнулся в высокомерном одиночестве. Если он не встречал идолопоклонства, то чувствовал себя безмерно оскорбленным. Грубый, ворчливый, он не только не пытался избавиться от резких манер и выражений, но, напротив, усугубил их. Даже его юмор становится порою обидно-злым. Кутюр с презрением взирает на своих собратьев по искусству, каждый талантливый человек встречает с его стороны высокомерное небрежение; он не признает дружбу, если дружба эта не означает безоговорочного признания его гениальности. У него много почитателей, но врагов ничуть не меньше. Последних раздражает не столько его талант, сколько самомнение. Его высмеивают, над ним издеваются, рассказывают, что он являет себя ученикам не иначе как в лавровом венке; передают из уст в уста тысячи презабавнейших, издевательских историй, где Кутюр предстает совершенно нелепой фигурой.

Кутюр страдает, он постоянно раздражен, он называет людей неблагодарными, он недоволен всеми и вся. А хуже всего то, что события приобретают для него самый неблагоприятный оборот. Революция 1848 года принесла ему заказ на большое полотно «Запись добровольцев». Кутюр был рад работе. Однако это никого не интересует. Тем более что с избранием президентом республики принца Луи-Наполеона Бонапарта ситуация изменилась и заказ был аннулирован. Тогда Кутюр принимается за росписи капеллы Девы Марии в церкви С.-Эташ. Но без энтузиазма. Эта работа его не воодушевляет. Он сетует: «Фигуры святых, украшающие витражи, больно уж ярко одеты – красные, зеленые, желтые; и этот окрашенный свет падает на композиции – так может показаться, что росписи освещены блеском от аптечных склянок!»

Мастерская остается для Кутюра единственно безопасным пристанищем. По крайней мере, хоть здесь, один на один с учениками, он может покрасоваться, почтительное поклонение этих тридцати юношей должно его конечно же умиротворять.

Вспылив, он бросает Мане: «Если сомневаешься в достоинствах учителя, прощай, подыскай другого».

Мане не заставил себя долго просить. Он собрал свои принадлежности и ушел.

Но это пока кратковременный разрыв. Узнав о том, что между Кутюром и Эдуаром пробежала кошка, г-н Мане поспешил отчитать сына. Неужто Эдуар снова возьмется за свои штучки? Он должен немедленно извиниться перед Кутюром!

Мане повинется. Что бы он там ни думал, что бы ни говорил о Кутюре, вести себя по отношению к учителю вызывающе, а тем паче опровергать его авторитет он вовсе не помышлял. Ему и в голову не могло прийти, что какие-то критические замечания с его стороны вызовут столь серьезные последствия. Так, самые чуточные сомнения, малая толика дерзости, некоторые несогласия, но и здесь он, Эдуар, руководствовался скорее инстинктом, чем серьезными размышлениями, да, да, только так. Бунт? Ни в коем случае! Его помыслы в одном – услышать похвалы из уст Кутюра.

Пристыженный, он возвращается в мастерскую, заверяя учителя в своих самых добрых намерениях. Он первый озадачен сложившимся положением, в которое ввергла его природная импульсивность и последствий которого он предвидеть никак не мог. А ведь, казалось бы, неприятности в Бразилии могли его чему-то научить, подсказать беззаботному юноше, что не все в жизни легко и гладко. Так нет! А к тому же еще...

Если он без звука покорился воле отца и немедленно попросил извинения у Кутюра, то основанием для такой сговорчивой покорности было скорее что-то другое, иная мучившая его тогда неприятность, куда более серьезная и требующая безотлагательного решения: с апреля месяца Сюзанна Леенхоф беременна.

На что решиться? Бросить девушку? Вряд ли такая мысль могла прийти Мане. К тому же он любит Сюзанну. В таком случае он на ней женится. Но Мане заведомо известно, что отец осудит этот брак: судья никогда не даст согласия на то, чтобы его снохой была учительница музыки, к тому же без гроша в кармане. Что же тогда делать? Сражаться, пойти на решительный шаг, выступить против отца, постараться вырвать у него согласие вопреки всем препятствиям? Увы! Пусть Мане способен на всякие дерзкие выходки, но такая смелость не в его характере. А что, если отец запретит встречаться с Сюзанной, лишит его средств к жизни, заставит уехать из Парижа? Ведь Сюзанна существует только на свои уроки – теперь ей пришлось их прервать. Не может же барышня на шестом месяце давать уроки музыки в добропорядочных семьях. Не за горами то время, когда ей потребуется еще больше денег. Ребенок станет новой обузой.

Мане предпочитает лавировать. Осенью он исповедуется матери. Об их тайных беседах никто ничего не узнает. Конечно, мадам Мане малость всплакнула. Но она человек мягкий, терпимый. Ведь она так любит этого взрослого мальчика, легкомысленного в свои двадцать лет, и верит в него, верит слепо, по-матерински. Вполне вероятно, что она посоветовала выгадать время и пока промолчать. Позже, когда Эдуар добьется успеха, будет куда легче уговорить отца, примирить его с мыслью об этом браке. А сейчас они будут тайком помогать девушке.

Между тем во Франции разворачиваются декабрьские события. 2 декабря принц-президент Луи-Наполеон Бонапарт совершает государственный переворот. Он быстро кончает с оппозицией. Армия патрулирует улицы, сметает загромождающие их баррикады, поливает градом картечи любую толпу, вызывающую подозрение. Как и в 1848 году, Мане не может устоять перед желанием увидеть все это. 4-го в полдень вместе с Антоненом Прустом он уже на бульварах. Ему не по себе. В первый раз друзья чуть не погибли под копытами лошадей во время кавалерийской атаки на улице Лаффит. Их жизнь спас торговец картинами, укрывший их в своей лавке. Чуть позже, на улице Пуассоньер они, упав ничком на мостовую, наблюдают, как обстреливают дом Салландруз. Их задерживают и отправляют на медицинский пункт. Однако вскоре освобождают и позволяют под конвоем дойти до дома, находящегося неподалеку, где живут их друзья⁴⁹.

В Париже установлен порядок, теперь можно подсчитать и опознать убитых. Неизвестные жертвы свезены на кладбище Монмартр. Туда отправляются все ученики Кутюра. По шатким, качающимся доскам, брошенным у ног мертвецов, Мане и его товарищи идут мимо пяти или шести сотен трупов, уложенных рядами и «сверху прикрытых соломой»⁵⁰, так, чтобы видны были одни головы. Чудовищное зрелище. Низкие декабрьские тучи нависают над кладбищем. Временами слышны душераздирающие крики тех, кто узнает друга, родственника, брата, отца. Охваченный ужасом, Мане быстро набрасывает рисунок...

Извещенная о беременности дочери мать Сюзанны приезжает в Париж из Голландии. Тайные совещания. В первую очередь надо соблюсти приличия – позаботиться о репутации Сюзанны и предупредить возможные подозрения со стороны г-на Мане, пресечь какие бы то ни было бестактные расследования, которые может предпринять судья. Об этом пекутся всячески. Ребенок – мальчик – появился на свет 29 января 1852 года. Мане ограничивается тем, что дает ему свое имя; на месте отца фигурирует мнимый Коэлла – в акте гражданского состояния ребенка называют «Коэлла, Леон-Эдуар, сын Коэлла и Сюзанны Леенхоф».

Так выглядят официальные бумаги. Сюзанна признала свое материнство только в мэрии; но распространять будут версию иную. Впредь о младенце будут говорить не как о сыне Сюзанны, но как о ее брате, последнем ребенке мадам Леенхоф, имеющей четы-

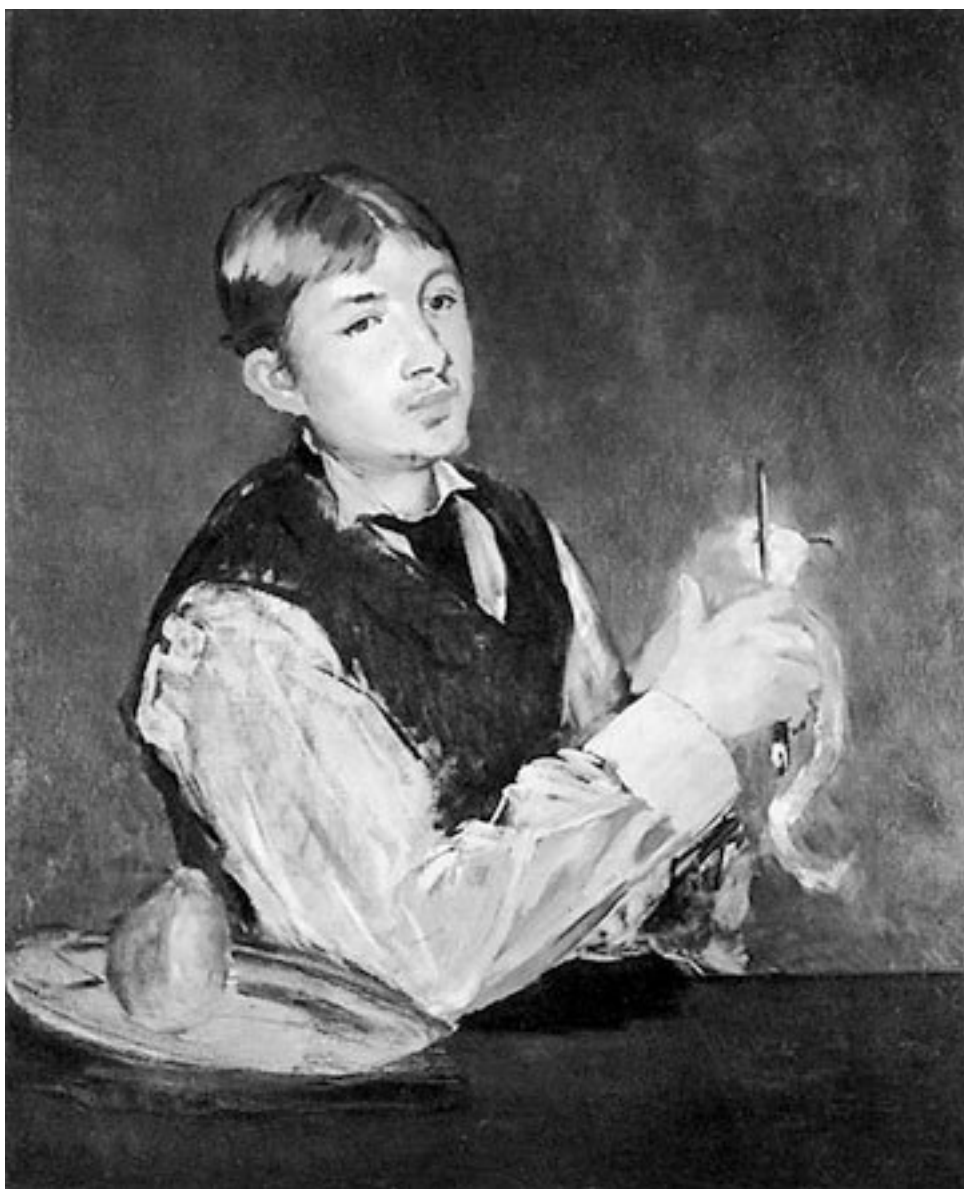
⁴⁹ Воспоминания Антонена Пруста.

⁵⁰ Там же.

рех детей, из которых двое – Фердинанд десяти лет и Рудольф – семи – сейчас маленькие. Отныне Леон-Эдуар Коэлла станет для всех Леоном-Эдуаром Ленхофом.

Приходится переезжать. Обе женщины поселятся в квартале Батиньоль, на улице С.-Луи⁵¹. С этого момента именно здесь, а не в доме отца находится домашний очаг Мане. В часы, свободные от работы, он ведет там жизнь «почти супружескую»⁵².

Постепенно в парижских мастерских за Мане закрепляется определенная репутация, его имя окружает своеобразный ореол. «Слыхали, – все чаще и чаще поговаривают теперь, – у Кутюра есть какой-то Мане; пишет он здорово, но вот только не ладит с натурщиками».



Эдуар Мане. Юноша, чистящий груши (Портрет Леоны Леенхоф).

Мане хватило ненадолго. Чуть гроза миновала, и он снова верен себе – насмешничает, шутит, и довольно жестоко. Препирательства с натурщиками возобновляются.

⁵¹ Сейчас улица Нолле.

⁵² Adolphe Tabarant. Manet, Histoire catalographique. Paris, 1931. То, что Леон Эдуар Коэлла был сыном Мане, пытались отрицать много раз. В соответствии с установленными фактами подобные попытки достаточно абсурдны и, кроме того, ведут к чисто психологическим несообразностям.

Но не со всеми. Красавица Нина Фэйо его волнует. Легкой, трепещущей кистью он делает с нее несколько быстрых этюдов, где передает то, что радует его взгляд и его чувства.

Такие вполне индивидуальные по манере этюды должны были наверняка получить неодобрительные замечания Кутюра. Вольности, с помощью которых самоутверждается Мане, вызывают у учителя самое резкое неприятие. Чуть что – и он его жестко отчитывает. Он нюхом чувствует, более того, он почти уверен – у этого Мане темперамент подлинного живописца, но это ему нравится и не нравится в одно и то же время. С посредственностями куда как спокойнее! Хоть бы этот неслух овладел азбукой того, чему он, Кутюр, его учит! Но нет, Кутюр видит, что юноша строптив, и ничего ему не прощает, ни малейшего огреха. «Я не желаю, чтобы говорили, будто из моей мастерской выходят невежды и сапожники».

Отношения натянуты, и было бы странно утверждать, что Мане пытается их как-то разрядить. В мастерской вокруг него образуется кружок. То, что его слушают, обсуждают его поступки, льстят, еще больше побуждает его следовать собственным склонностям.

Весной 1853 года Кутюр предлагает своим ученикам отдохнуть – отправиться в пешеходное путешествие с мешком за плечами вдоль нормандского побережья. Выйдут из местечка Сент-Адресс, останавливаться будут где пожелают; каждый станет изучать природу, море, пляжи и писать так, как ему нравится. Заманчивый проект. Увы! Прогулка, которая могла бы стать удобным предлогом для сближения между Мане и Кутюром, напротив, усугубляет их разногласия. Буквально все становится у них поводом для споров. В дружеской обстановке, к какой располагает такое путешествие, Кутюр лишний раз убедился, как влияет Мане на своих товарищей, поэтому и загрузил.

Кутюр с учениками возвращается в Париж. В первую неделю им позирует женщина, натурщица Рыжая Мари. Мане с таким блеском написал с нее этюд, что ему устроили овацию. На этот раз Кутюру придется признать себя побежденным. В ожидании его прихода холст устанавливают поближе к свету, а мольберт украшают цветами.

Появляется Кутюр. Он увидел полотно еще с порога, но сделал вид, что его не заметил.

Прежде чем подойти к работе Мане, он выправил этюды всех учеников. Наконец, остановившись перед украшенным цветами мольбертом, надменно заявил: «Вы никогда не научитесь делать то, что видите!» Мане вздрагивает. Он в ярости. «Я делаю то, что вижу, а не то, что нравится видеть другим, – резко парирует он. – Я делаю то, что есть, а не то, чего нет». – «Что ж, мой друг, – цедит Кутюр, – если вы намерены быть главой школы, отправляйтесь создавать ее в другое место».

Мане исчезает.

Назавтра еще один инцидент. Г-н Мане пригласил в тот день к обеду некоторых сослуживцев по Дворцу правосудия. Один из них, которому, очевидно, казалось смешным, что старший сын почтенного г-на Мане марает красками какие-то картинки, неожиданно спрашивает Эдуара тоном нескрываемо ироническим: «Вы ведь занимаетесь живописью. У вас что же, талант?» Эдуар вспыхивает: «А у вас-то есть талант?» Призвав сына к порядку, г-н Мане выпроваживает его в соседнюю комнату. После обеда отец входит туда. «Следовало бы знать, – строго говорит он, – что тому, кто намеревается стать художником, талант необходим, а посему заданный тебе вопрос вполне уместен, а вот твой ответ неприличен, оттого что для судейского служащего талант необязателен». – «Но, папа, – возражает Эдуар, – пусть не талант, но хоть ум-то судейским служащим иметь следует».

«Не везет мне, право», – сетует Мане. Как бы ему хотелось вернуть расположение Кутюра, но Кутюр продолжает на него сердиться. Г-н Мане решается на беседу с автором «Римлян», и ему не без труда удается успокоить Кутюра; когда же наконец, о великий боже, Эдуар образумится?

Чтобы отпраздновать возвращение Мане в мастерскую, Пруст и еще кое-кто из товарищей устраивают в ресторанчике «Пигаль» вечер с пуншем. Вряд ли эта затея могла способствовать успокоению Кутюра.

Мане так часто слышит восторги Кутюра по поводу итальянских мастеров, а произведения, виденные им воочию, настолько великолепны, что он жаждет узнать об итальянцах как можно больше. Он мечтает о музеях Флоренции, Венеции и Рима. В сентябре отец вручает ему сумму, достаточную для пребывания в Италии на протяжении нескольких недель; Эдуар отправится туда вместе с братом Эженом – последнему сейчас почти двадцать лет, он изучает право.

Прибыв в Венецию, братья остановились в гостинице, где когда-то жил Леопольд Робер, – в *Iocanda Каттанео*, возле театра Ла Фениче, на корте Ниенелли. Через два или три дня они были приятно удивлены встрече с одним из знакомых, адвокатом Шарлем Лиме. Последний путешествовал вместе со своим коллегой Эмилем Оливье, который, несмотря на юный возраст, был человеком с прошлым: в 1848 году Оливье исполнилось только двадцать три года, но он уже играл видную политическую роль в своем родном городе Марселе.

Вчетвером французы осматривали Венецию – ее музеи, церкви, дворцы. Эмиль Оливье, страстно влюбленный в Италию и во все итальянское, выполнял роль переводчика; Мане же предложил свои услуги в качестве по культурным достопримечательностям.

К сожалению, любимые им итальянские мастера не всегда нравятся склонному к мистицизму Оливье. «Какое разительное отсутствие идеала! Что за материализм!» – восклицает молодой адвокат.

Венеция изнемогала тогда под австрийским игом. Зброшены дворцы. Молчат гондолеры. «Собственная скорбь моя усугубляется скорбью народной, – сетует в своем дневнике Эмиль, – как хотелось бы мне веселиться вместе с моими спутниками, но увы, я чаще глотаю слезы».

Мане не до меланхолии. Он, наверное, самый смешливый, самый беззаботный француз в этой компании. Радоваться краскам великих живописцев Венеции, наслаждаться светом солнечного неба, плавать в гондоле по каналам, купаться на Лидо – право, жизнь чудесна, обворожительна и вкусна, как то мороженое, которое он вечерами уписывает на площади Сан-Марко под аккомпанемент австрийской музыки. Он ни о чем не задумывается и живет прекрасным мгновением.

Забыв о Сюзанне, он заглядывается на венецианок. Напротив гостиницы, в доме по другую сторону канала, он приметил юную блондинку дивной красоты – «склонившись над каким-то рукоделием», она почти всегда работает у окна. Мане погружен в созерцание этого лица, тонкого и нежного, как лицо Мадонны. С помощью Эмиля Оливье, подсказывающего ему итальянские слова, он пишет крупными буквами: «*Ti amo da disperato*» («Я влюблен в тебя как безумный»), на большом листе картона и начинает размахивать им, чтобы привлечь внимание девушки. Она смеется и, кажется, благосклонна к автору этого признания. Мане тотчас же сочиняет другой плакат: «*Andare in gondola?*» («Покатаемся в гондоле?»). Новая улыбка – по ту сторону канала дали очевидное согласие. Мане хватает итальянский словарь и со всех ног мчится за дверь...

Возвращается он с вытянутой физиономией: вместо красавицы, которую обещало сияющее личико, он увидел – кого? – жалкую калеку с искривленным телом.

Часть вторая Салон императора (1854–1863)

I. Мальчик с вишнями

Все было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся.
Лев Толстой

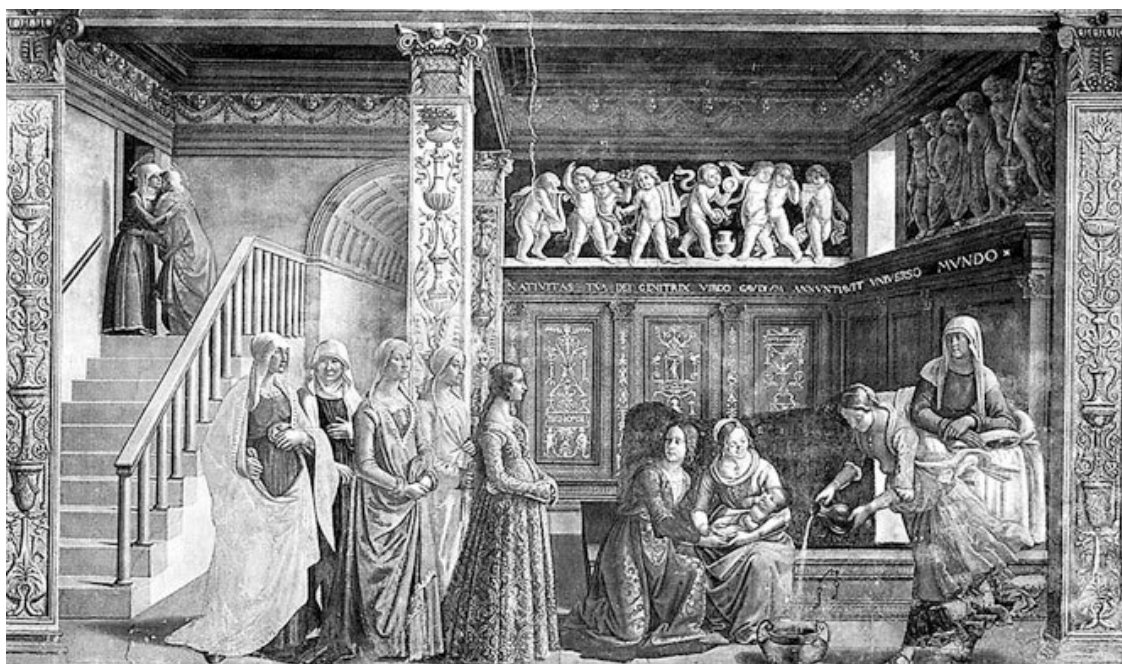
Но отнюдь не одни итальянки занимали Мане во время путешествия. Где бы он ни был, он никогда не забывал – с карандашом или кистью в руке – вопрошать творения великих мастеров живописи: и тех, кто его восхищал, и тех, кого ценил меньше. «Станцы» Рафаэля в Ватикане, фрески Фра Анжелико в Сан-Марко, Гирландайо в церкви Санта-Мария-Новелла – все привлекало его. Он провел два месяца во Флоренции и скопировал в музее Уффици «Портрет юноши» Филиппино Липпи и «Венеру Урбинскую» Тициана.



Филиппино Липпи. Портрет юноши.

Что обрел Мане в этом диалоге с великими мастерами? Прежде всего, конечно, знание, которым наделяют они всех тех, кто к ним обращается, но к тому же еще и опору, возвышенный пример. Более или менее сознательно – чаще менее, чем более, – Мане как бы добивался получить от этих мастеров право на собственное видение. Он просил их о поддержке, о помощи, о том, что придавало бы ему уверенности. Он хотел соразмерить с ними свою индивидуальность. Однако он не жертвовал ради них ничем из того, что было только его достоянием. Его копии – это отнюдь не рабское повторение, но своего рода преображение оригинала стремительными и смелыми ударами кисти.

Если бы эти копии увидел Кутюр, он бы их ни в коем случае не одобрил. В «Венере Урбинской» им был бы обнаружен подозрительный прозаизм: Венера стала у Мане скорее женщиной, чем богиней.



Доменико Гирландайо. Фрески в церкви Санта-Мария-Новелла.

Мане никогда не помышляет о том, чтобы приспособиться к идеалу, приноровиться к условности. Жизнь влечет его на улицы, он хочет сравнить обычных женщин с прекрасными Венерами.

Он снова занял свое место в ателье Кутюра и сумел убедить одного из натурщиков, Жильбера, позировать в простой позе. И даже более – уговорил его не раздеваться до конца. Наконец-то ученики смогут писать натурщика, который держится и выглядит естественно.

Как назло, в это неположенное время в мастерскую пришел Кутюр. С ним Раффе. Изумленный тем, что натурщик одет, Кутюр поначалу не мог вымолвить ни слова, а потом взорвался: «Разве вы платите Жильберу не за то, что он раздевается донага? Кто придумал эту глупость?» – «Я», – ответил Мане. Тогда Кутюр с нарочитым сожалением заявил: «Что ж, мой бедный мальчик, тогда вам остается стать Домье своего времени – и никем больше».

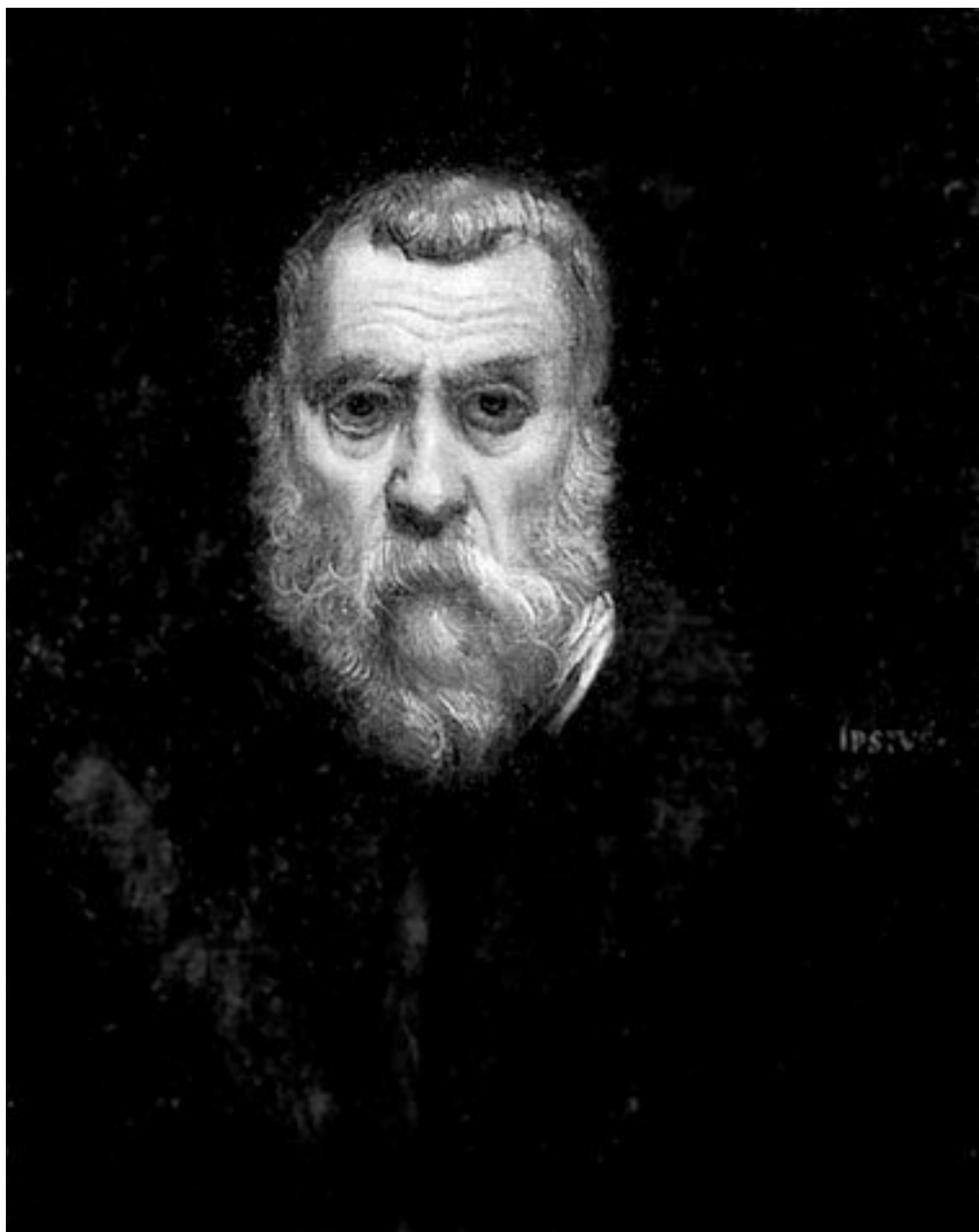
Мане сдержался и промолчал. Между тем Раффе подошел поближе к его холсту, рассмотрел его и похвалил: похвалы эти были столь же приятны Мане, сколь оскорбительны замечания Кутюра. По дороге в закусную некоего Павара на улице Нотр-Дам-де-Лорет,

где они обычно завтракают с Прустом, Мане на чем свет поносил Кутюра. «Домье своего времени! Во всяком случае, это куда лучше, чем быть Куапелем», – резюмировал он.

Вернувшись из Италии, Мане продолжает усердно копировать произведения старых мастеров. Он устанавливает свой мольберт в Лувре перед «Автопортретом» Тинторетто («Один из самых прекрасных портретов в мире», – говорит он), перед «Юпитером и Антиопой», «Мадонной с кроликом» Тициана... К копиям относится предельно небрежно, раздает их направо и налево или попросту уничтожает⁵³. Копия для него только повод вопрошать великих предшественников: то, что можно у них почерпнуть, необычайно важно.

Он из всего хочет извлечь уроки, он повсюду ищет совета. На следующий день после посещения Раффе Мане отправляется к нему в сопровождении Антонена Пруста, чтобы поблагодарить за добрые слова. Раффе ведет друзей в Лувр, потом в Люксембургский музей. Тут, возле «Ладьи Данте» Делакруа, у Мане возникает мысль, и он делится ею с Прустом тотчас же, как только Раффе уходит. «А что, если мы наведаемся к Делакруа?» Предлогом для визита может послужить просьба о разрешении копировать «Ладью».

⁵³ В результате сохранилась только дюжина копий Мане.



Тинторетто. Автопортрет.

Совершенно неожиданное предложение: Делакруа не относится к художникам, которые восхищают Мане; Мане, чуждый романтическим настроениям, ненавидящий в живописи движение, предпочитающий – и сейчас и ранее – сюжеты спокойные, очень далек от той динамики, лихорадочного возбуждения, потоков цвета, характерных для искусства Делакруа, слишком, на его собственный вкус, насыщенного, слишком взволнованного. Но Делакруа не просто возбуждает его любопытство, он почти пленяет. Да и мог ли он равнодушно пройти мимо этих виртуозных и нежнейших мазков, мимо этой поразительной живописной поэзии – она потрясает его вопреки собственным склонностям.

Мане и Пруст часто завтракают у Павара вместе с Анри Мюрже. Они поделились с ним своим проектом. Автор «Сцен из жизни богемы» принимается их отговаривать. «Делакруа человек холодный», – предостерегает он.

Делакруа уже пятьдесят шесть лет, но его битва с врагами все еще не закончена. Семь раз выставял он свою кандидатуру в Институт – и все безуспешно. Этот породистый, невы-

сокий, худой, необычайно нервный, живущий в одиночестве человек с аристократическими манерами принял юношей с присущей ему отстраненно-утонченной вежливостью. Он осведомляется, каких художников они предпочитают, и подчеркнуто настойчиво советует изучать Рубенса, «этого Гомера живописи», «отца пламени и энтузиазма в искусстве, где он затмевает всех не столько совершенством, какого достиг в том или ином отношении, сколько тайной силой и жизнью души, какую вносит во все»⁵⁴. Следует «созерцать Рубенса, вдохновляться Рубенсом, копировать Рубенса». Рубенс – это «бог».

Рубенс? Хорошенькое дело! Мане понимает его произведения еще меньше, чем работы Делакруа. Велеречивость и страстность мастера из Антверпена его никак не прельщают. «Это не Делакруа холоден, – говорит Мане Прусту, выходя на улицу, – это его доктрина обледенела... И все-таки давай сделаем копию с „Ладьи Данте“. Какая живопись!»

Мане сделал с холста Делакруа две копии. Но вскоре вновь возвратился к своим любимым художникам, особенно к испанцам, Веласкесу.

Став императором, Наполеон III в январе 1853 года женился на красавице Евгении Монтихо; по отцу, графу де Монтихо и де Теба, она принадлежала к старинному испанскому роду. Теперь более чем когда-либо Испания входит в моду у французов.

Чтобы насладиться картинами художников с Пиренейского полуострова, в Лувр спешат толпы; мольберты копиистов заполнили здесь все залы – ученики из разных мастерских приходят сюда каждый день после полудня, и удобное место найти тогда почти невозможно. Мане пристраивается у Веласкеса, пытаясь воспроизвести «Инфанту Марию-Маргариту» – дело нелегкое – и «Малых кавалеров». «Ах, тут, по крайней мере, все ясно! – восклицает он. – Вот кто отобьет у вас вкус к нездоровой пище». Пусть в те времена «Малых кавалеров» принимали за работу Веласкеса, на самом деле они написаны Масо – какая разница! Их воздействие на Мане от этого не меняется.

⁵⁴ Спустя некоторое время Делакруа сформулирует свое мнение о Рубенсе в «Дневнике» (20 октября 1853 года).



Эжен Делакруа. Данте и Вергилий, или Ладья Данте.

В том же 1855 году Мане получил возможность познакомиться с самой разной живописью. Наполеон III, начав Крымской войной осуществлять свою престижную политику, почти сразу же после захвата власти вознамерился поразить европейское мнение из ряда вон выходящей манифестацией. До настоящего времени единственная в своем роде Всемирная выставка была устроена в Лондоне в 1851 году; Наполеон III решает организовать вторую Всемирную выставку в Париже. Открывается она пятнадцатого мая.

Выставка эта прежде всего проявление веры в научный и индустриальный прогресс, который благодетельствует людей и в материальном и в духовном отношении. На месте бывшего Карре-Марины на Елисейских Полях возвели огромное, двухсотпятидесяти метров в длину сооружение из стекла и железа в стиле лондонского Кристал-Палас – Дворец промышленности; в его архитектуре обозреватели усматривали «прообраз храма будущего»⁵⁵.

Не забыли и об искусстве. Показать свои произведения в Париже предложено художникам всего мира. Для них построен специальный дворец, расположенный между авеню Монтень и улицей Марбеф. Подобной экспозиции, где, помимо французов, были бы представлены художники самых разных стран – Англии, Бельгии, Пруссии, Голландии, Швейцарии, Испании, Португалии, Америки, – еще нигде и никогда не устраивалось. Было показано пять тысяч произведений.

Мане часами пропадает в этом дворце; здесь он может получить полное представление о живописи своего времени, о ее основных течениях, о классицизме Энгра и романтизме Делакруа. Для первого выставка эта подлинный апофеоз: Энгр показывает более сорока полотен; он царит над всеми художниками. Ему присуждена почетная медаль, критики поют

⁵⁵ Adolphe Gueroult в «La Revue philosophique et religieuse», январь 1856 года.

ему дифирамбы; Теофиль Готье возносит его «на вершины искусства, на золотой трон с пьедесталом из слоновой кости, где пребывают увенчанные лаврами гении, достигшие полноты славы и удостоившиеся бессмертия». Делакруа, тридцать пять картин которого озаправляют стены огромного зала, «вершин» этих, как видно, не достиг. Это триумф «энгризма». Он воплощается в мастере «Турецкой бани»⁵⁶ и в произведениях художников, так или иначе считавших себя учениками Энгра и почти без исключения получивших награды. Одна из таких наград – медаль первого класса – выпадает на долю Кутюра, представленного «Римлянами времен упадка» и еще одним полотном под названием «Сокольниковый»; однако Кутюр возмущен: его оценили по низшему разряду, он отказывается от медали.

Гюстав Курбе, представитель реалистической живописи, тоже не удовлетворен. Отборное жюри посчитало за лучшее отстранить две посланные им на выставку картины, и как раз те, которыми он особенно дорожил: «Похороны в Орнате» и «Мастерскую». Курбе – а он тщеславен, как Кутюр, и горяч необычайно – тут же порешил: построить на собственные средства частный павильон (поступок прямо-таки неслыханный) – как раз напротив Дворца изящных искусств на авеню Монтень. Павильон этот был официально открыт в конце июня под вывеской: «Реализм. Выставка и распродажа сорока картин и четырех рисунков из произведений г-на Гюстава Курбе».

Мане посещает эту выставку. Он одинаково далек и от реализма и от романтизма. Социальные мотивы, продиктовавшие Курбе преобладающую часть сюжетов, абсолютно чужды Мане. Для него живопись – это только живопись. Какова живопись Курбе? В ней масса достоинств. Но... «Да, „Похороны“ – это очень хорошо. Ничего не скажешь, очень хорошо, хотя бы потому, что гораздо лучше всего остального. Но, между нами говоря, это еще не то. Это все-таки очень темная живопись».

Классицизм, романтизм, реализм – звенья бесконечной цепи истории... Мане погружен в раздумья. Затем, легким движением поправив цилиндр – он носит теперь этот головной убор, верный признак элегантности, – пружиня шаг, идет по направлению к Бульварам – туда, где на Итальянском бульваре располагаются террасы кафе Тортони и кафе Бад.



Гюстав Курбе. Похороны в Орнате.

По улицам снуют новые omnibuses – у omnibуса появился теперь верхний этаж, и его называют империалом – новшество по случаю Всемирной выставки. Париж быстро

⁵⁶ «Турецкая баня» – одна из самых известных картин Энгра. Она будет написана в 1859 году. – Прим. пер.

меняет свой облик. Начиная с 1853 года префект Сены Жорж-Эжен Осман прокладывает улицы, выравнивает кварталы, разбивает скверы. Развивается промышленность. Процветает коммерция. Сановники и привилегированная публика, вознесенная нынешним режимом, – денежные воротилы, богатые иностранцы – соперничают в расточительстве, швыряют целые состояния на драгоценности и туалеты. Кринолины стали еще необъятнее, в моде изощренно-вычурные отделки из муара, шелка и атласа. Пример роскошной жизни задает двор. Париж становится городом развлечений. Здесь царит культ женщины. Появляется новый тип женщин, называемых с легкой руки Александра Дюма-сына дамами полусвета. Премьера пьесы, где впервые прозвучало это слово, состоялась в марте 1855 года.

Помахивая тросточкой, Мане вливается в толпу золотой молодежи, фланирующей по Бульвару.

В конце сентября Мане узнает, что одного из сыновей дядюшки Фурнье больше нет в живых; ему было двадцать четыре года; он был артиллерийским лейтенантом; он убит при осаде Севастополя.

Отец Эдуара так и не помирился со своим шурином; отношения их обострились еще сильнее после того, как в 1851 году разгорелись корыстолюбивые препирательства по поводу наследства бабки Делану. Мане с грустью вспоминает о тех далеких временах, когда начинал рисовать, а дядюшка Фурнье помогал ему. Разве не он первым распознал в нем способности художника, предугадал то, чем Мане был и есть в действительности? Невзирая на отцовские запреты, он чувствует, что не в состоянии побороть себя, и едет в Понсель, спешит выразить дядюшке Фурнье соболезнования в связи с постигшим его несчастьем.

Спустя несколько недель после этого визита пастор реформатской церкви в квартале Батиньоль (Сюзанна протестантка) крестит сына Мане.

Сам Мане выступает в роли крестного отца, Сюзанна – крестной матери.

О церемонии, по-видимому, никто извещен не был.

У Мане создается впечатление, что, оставаясь в мастерской Кутюра, он топчется на одном месте. Вот уже шесть лет как он трудится в его ателье. Он приобрел здесь мастерство, ремесленную основу живописного искусства. Не так уж и мало. Эдуар был бы несправедлив, если бы не отвечал Кутюру признательностью. Но он должен двигаться дальше. Чему еще может научить его автор «Римлян»? Ничему ровным счетом. В 1856 году на Пасху Мане покидает ателье. Теперь он будет работать самостоятельно.

У Мане теплые отношения с графом Альбером де Баллеруа – это юноша на три с половиной года моложе его самого, богатый аристократ, франт с моноклем в глазу. Баллеруа увлекается живописью и пишет маслом сцены псовой охоты. Его работы уже дважды – в 1853 и 1855 годах – были отмечены в Салоне. Он предлагает Мане разделить мастерскую, которую снимает неподалеку от церкви Мадлен, на улице Лавуазье. Предложение принято.

Мастерская – помещение на первом этаже – особой роскошью не блещет. Пятнадцатилетний мальчишка по имени Александр кое-как прибирает помещение, моет кисти и палитру. Мане этого вполне достаточно. В первую очередь необходимо выяснить, чего же он хочет. Его одолевают сомнения. Терзает беспокойство. Он то впадает в возбужденное настроение, то так же внезапно падает духом. Мучимый всевозрастающей неуверенностью, мечется из стороны в сторону, наугад хватается то за одно, то за другое. Ничто его не удовлетворяет.

Как ему хочется стать одним из тех художников, кем все восхищаются, чьи имена у всех на устах, кого обхаживают торговцы, но ведь он не может не презирать живописцев, пользующихся подобными привилегиями. «Первая заповедь для художника, – говорит он Прусту, – никогда не проходить по улице Лаффит, а уж если на нее попал, то хотя бы не глядеть на витрины торговцев картинами». Кутюра он критикует сейчас еще больше, но поддерживает отношения с ним, считается с его мнением.

Мане в тупике, ему плохо. В поисках истины, в надежде на успокоение он решает предпринять новое учебное путешествие. После Гааги, где он копирует «Урок анатомии доктора Тульпа» Рембрандта, из Амстердама едет в Германию, посещает Восточную Европу, останавливается в Касселе, Дрездене, Праге, Вене и Мюнхене, подолгу задерживаясь во всех музеях. Вернувшись в Париж, уезжает снова в Италию, во Флоренцию и Венецию.



Рембрандт. Урок анатомии доктора Тульпа.

Воспитание, полученное в семье, не сделало Мане верующим человеком – к вере он равнодушен. И тем не менее вдохновленные религиозным чувством картины в итальянских музеях произвели на него настолько сильное впечатление, что по возвращении в Париж он отваживается начать большую работу – изобразить «Христа и Магдалину». Он, вероятно, мечтает – кому это ведомо? – покорить будущим полотном жюри Салона. Но хватило его ненадолго. После двух этюдов Христа – «Христос с посохом» и «Христос-садовник» – работа заброшена.

Этюд «Христос с посохом» подарен молодому священнику, наставнику герцога Масса, аббату Юрелю, который часто бывает у родителей Мане. Аббат считает себя ценителем живописи, он знаком со многими художниками и нередко заглядывает на улицу Лавуазье – любопытствует, над чем работают сейчас Мане и Баллерау. Юрель – человек большой культуры, у него приятные манеры, выразительное лицо, решительный взгляд. Он не прочь поселиться, любит шутки, не чурается смелых выражений. Мане дорожит его обществом. Очень может быть, что именно ему художник был обязан замыслом неосуществленной картины.

Этот неосуществленный замысел тоже не способствует успокоению Мане. Его непрерывно гложет теперь скрытая тревога. Как хотелось бы ему жизни легкой и ничем не отягощенной, но в действительности все идет наоборот. Отец болен, его свалил ревматизм.

Поэтому Эдуара еще сильнее мучат угрызения совести. Ему просто необходимо добиться успеха. Только успех может служить для него оправданием. А потом все стало бы просто, считает он. «Не могу понять, почему ты так хочешь понравиться Кутюру», – говорит ему Пруст. Потому, что поддержка Кутюра ободрила бы его, внушила бы уверенность. Что бы там ни было, а уроки автора «Римлян» еще крепко сидят в нем – да разве могло быть иначе? И на что бы он мог еще опереться? Тщеславия в нем больше, чем гордости. Он воспринимает себя скорее как «сына Мане», чем просто Мане. Ведь он еще не знает, что он – Мане.

И вправду в нем как бы сосуществует одновременно несколько натур: живой, элегантный молодой человек, который развлекается, шутит и состязается в остроумии с бездельниками, завсегдатаями Бульвара; мальчик, который покорно слушается своего папеньку и аккуратно, каждый день в определенный час возвращается в родительский дом на улице Клиши⁵⁷; тайный возлюбленный Сюзанны и тайный отец; ученик Кутюра, изнемогающий от желания скорее заполучить награды, медали, попасть в Институт; и наконец, тот Мане, о каком еще никто не догадывается, – искатель новых путей, сосредоточенный и беспокойный, человек, чьи глаза видят то, чего другим видеть не дано.

Он ежедневно бывает в Лувре. Все остальное время работает на улице Лавуазье, пишет там несколько портретов, в частности портрет Антонена Пруста, выполненный в полном соответствии с эстетическим кредо Кутюра, и собственное изображение, автопортрет-шарж, снабженный иронической подписью «Некий друг».

Все, что он делает, будь то копии или оригинальные произведения, выносятся на суд Кутюра. Мане изо всех сил хочет понравиться учителю, старается исправно употреблять его живописные приемы. Но Кутюр не оттаивает. После выставки 1855 года – «этого глотка горечи» – его мизантропия усилилась, язвительность возросла. Осенью 1856 года ему было показалось, что судьба вот-вот улыбнется вновь. Правительство императора поручило ему большой заказ. Он приглашен ко двору, присутствует на охоте в Компьенском лесу, и в который раз по всему городу разносятся его хвастливые речи. «Каждый день я завтракал и обедал вместе с их величествами». Насмешки удваиваются. Художественный критик Теодор Пеллоке рассказывал однажды в ресторанчике – трубка в зубах, вокруг головы облако табачного дыма, – что ему как-то от кого-то довелось узнать (Пеллоке не помнит имен собственных), будто Кутюр работает теперь у мольберта не иначе как одетым «в треуголку, украшенную галунами, и зеленый костюм времен Людовика XV, на боку охотничий нож, а на ногах огромные берейторские сапоги, почти скрывающие нижнюю часть тела»⁵⁸. В начале 1857 года «Le Figaro» организует кампанию против Кутюра. После чего заказы (кроме одного-единственного) были у него отняты.

Кутюр уязвлен и снова замыкается в одиночестве. Мане? Ну что можно сказать о Мане? Ему не дано по-настоящему использовать свои способности; так и останется на перепутье; никогда не постигнет великих истин искусства. Замечания Кутюра тяжело ранят самолюбие молодого художника. Мане отвечает ему. Споры между учителем и учеником вспыхивают ежеминутно.

Отголоски этих споров доходят до улицы Лавуазье. В парижских мастерских начинают поговаривать о стычках, возникающих у Мане с его бывшим учителем. Разуверившиеся в Кутюре и Пико ученики, неугомонные «рапэны» все чаще навешиваются на улицу Лавуазье. Взрывы голосов. Шутки. Вызывающие заявления. Мане так мечтал о единодушии с Кутюром. Отчего же он привлекает к себе непокорных?

⁵⁷ В 1852 году г-н и г-жа Мане переехали с улицы Птиз-Огюстен (переименованной тогда же в улицу Бонапарта). Два или три года они жили в доме под № 6 по улице Мон-Табор, а в 1855 году перебрались на улицу Клиши в дом № 69.

⁵⁸ По словам Фирмена Майяра.

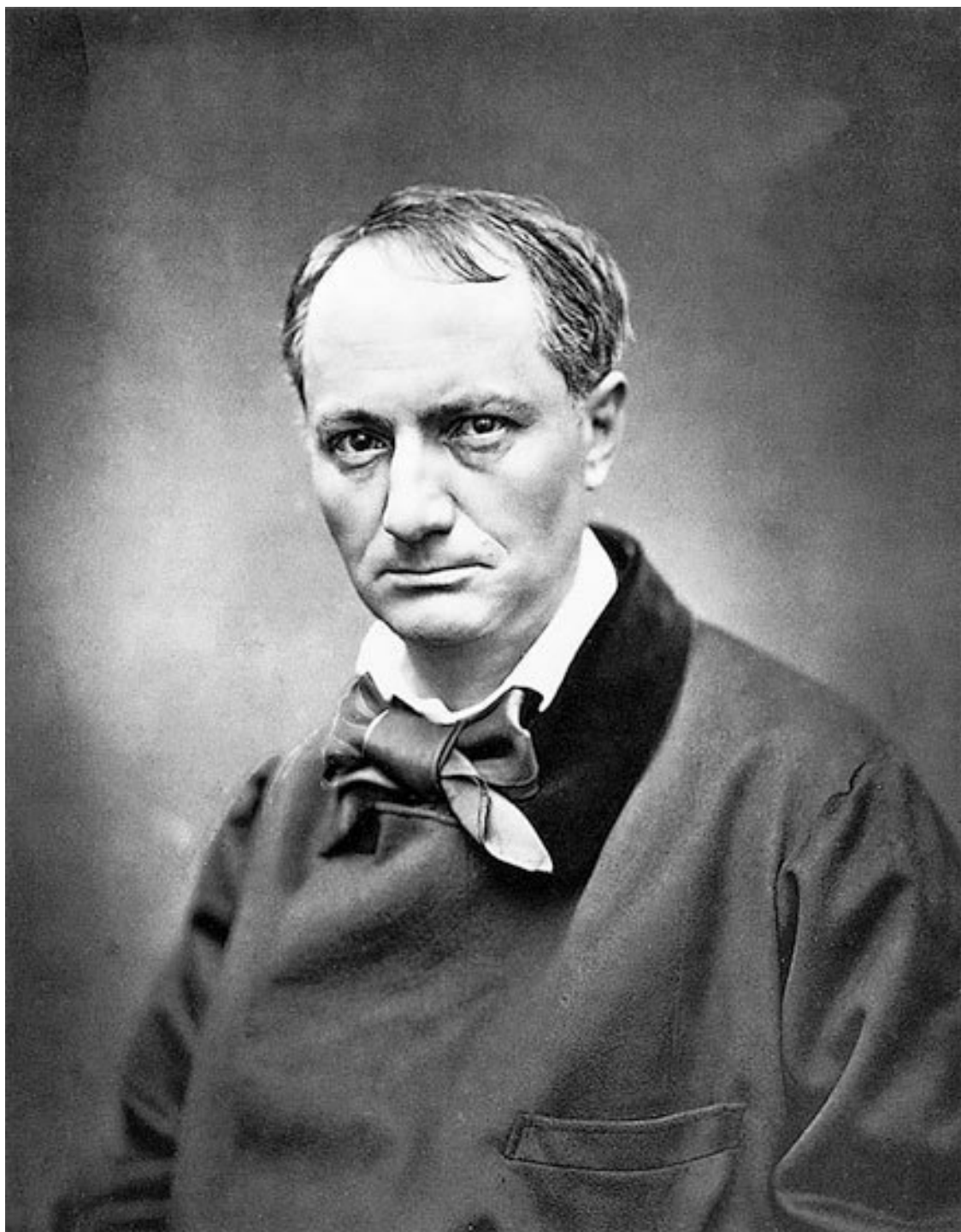
Среди знакомых семейства Мане есть майор императорской гвардии Ипполит Лежон, адъютант маршала Маньяна.

Усы и бородка клинышком а-ля Наполеон III придают «майору» – его так всегда величают – некоторое сходство с императором. Ложное сходство. Вопреки своему чину и должности Лежон очень неприязненно относится как к самому режиму, так и к новоявленному самодержцу, рожденному второго декабря. Он высмеивает императора в язвительных стихах.

«В профиль Карагез, в фас сова ночная».

Этот военный, убежденный республиканец, рьяный поклонник Гюго, не чужд общения с музами. Ночами читает Вергилия и сам сочиняет сонеты. Знаток литературы и искусства, предпочитающий в них ценности сугубо «неофициальные», он приглашает в свой салон на улице Трюден писателей, художников, скульпторов и музыкантов – Лежон почитает лишь те умы и таланты, которые далеки от конформизма. Мане захаживает в дом на улице Трюден – порою в сопровождении Баллеруа, – где встречается Барбе д'Орвилли, Константена Гиса, Поля Мериса, приятеля Гюго, фотографа Надара, гравера Феликса Бракмона... Как-то вечером 1858 года «майор» представляет Мане странному человеку – безбородое лицо, кривящиеся губы, необычайно черные, горящие каким-то магнетическим блеском глаза – эфир и опиум успели опалить лихорадочным жаром глаза автора «Цветов зла» – скандальной книги, которая годом раньше стоила поэту исправительного дома, – Шарлю Бодлеру.

Одевание изысканности необычайной, наруганные щеки, тщательно ухоженные маленькие руки – таков Бодлер. Он одет в голубую блузу с золотыми пуговицами – братья Гонкуры называют ее «одеждой гильотинированного»; шею обрамляет большой широкий воротник ослепительной белизны с повязанным вокруг пышным черным галстуком.



Шарль Бодлер.

Невзирая на разницу в возрасте – Мане двадцать шесть лет, Бодлеру тридцать семь, – художник и поэт мгновенно почувствовали друг к другу горячую симпатию. «Он загримирован, – говорит Мане о Бодлере, намекая на его румяна, – но какой гений таится под этим гримом!» Что же касается Бодлера, то этому провидцу, этому иконопокклоннику, этому поэту – ведь его первой подписной публикацией был «Салон 1845 года» – оказалось вполне достаточно изучить некоторые работы Эдуара на улице Лавуазье, достаточно было окинуть художника своим взглядом ясновидца, взглядом, «пронизывающим насквозь, почти сомнамбули-

ческим»⁵⁹, чтобы понять, что представляет собой Мане. Поэту нравится не только пылкость Мане, но и его манеры, благовоспитанность, отвращение к вульгарности и неряшливости, принятым у представителей богемы. За светской внешностью Бодлер угадывает муки, терзающие художника. Он угадывает скрытую чувствительность, неясную пока даже для самого Эдуара, чувствительность, ищущую форм для самовыражения. А быть может, он угадал, почуял родство внутреннее? Путешествие в Рио – о нем в семействе Мане предпочитают больше не вспоминать – созвучно событию в жизни Бодлера. В юности, взбунтовавшись против родителей, поэт вынужден был уйти в море и побывал на островах Маврикия и Бурбон. Он тоже знает, что такое кожа черного цвета. «Ведьма с эбеновыми бедрами, дитя черных ночей»: у Бодлера связь – связь бурная, сплошные ссоры и примирения – с мулаткой Жанной Дюваль. Коварный люэс делает свое страшное дело. Вот уже несколько месяцев Бодлер страдает заболеванием ног, желудка; он с трудом двигается, порой задыхается...

В этой игре совпадений угадывается родство душ – неясное, но более глубокое и сильное, чем внешние расхождения, – и родство это порождает дружбу.

Страшился ли Мане подобного братства, которое, неожиданно возникнув, не могло не затронуть самой глубины существа этих двух людей? Повадки священнослужителя, вид жреца – жреца дьявольского, священнослужителя черной мессы – Бодлер являет собой личность скандальную. Как далеко оказался Мане от Кутюра, от академических чинных почестей! Вместо фимиама – проклятия и яд, вместо пристойной торжественности – судебный процесс. Процесс против «Цветов зла», равно как и процесс, имевший место шесть-семь месяцев тому назад, против автора «Мадам Бовари» означал разрыв Литературы с большой буквы с моралью банальной и обывательской. Какой пример подал строптивцу Мане Шарль Бодлер! Так возникает проклятое искусство, так появляются творцы, которых власти и толпа предадут анафеме. Дружба Мане и Бодлера, возникшая в силу потаенных импульсов, исполнена грядущих знамений. Но что дано предвидеть Мане? Он бездумен и слеп, он не относится к тем, кому ведомы тайны предзнаменований.

Художник и поэт сближаются, их отношения приобретают более тесный характер. Вместе завтракают у Павара или на улице Бреда⁶⁰ в «литературном ресторанчике» Диношо. Мане зачастую платит по счету, одалживает Бодлеру деньги. Ибо поэт-денди более чем некредитоспособен. Его долг у Диношо очень значителен.

«Этот человек будет живописцем, тем настоящим живописцем, – утверждает Бодлер, – который сумеет ухватить в современной жизни эпическую сторону; он заставит нас увидеть и понять, как мы велики и поэтичны в своих галстуках и лакированных ботинках»⁶¹. Идея «современности», о которой непрестанно говорит Бодлер, совпадает с аналогичной идеей Мане, более или менее художником осознанной. Но Бодлер, хотя он и фигурирует среди персонажей картины Гюстава Курбе «Мастерская», отнюдь не может причислить себя к реалистам. Равно как и Мане. Сочетающий «повышенно-нервную чувствительность и загадочную холодность»⁶², он представляет собой реалиста лишь в той мере, в какой творец хочет овладеть реальным, чтобы затем превратить его в поэзию, сделать частью вечности. Бесстрастный лиризм Бодлера, воплощенный в гимне недвижной красоте, вполне мог быть созвучен живописи художника:

Я – камень и мечта; и я прекрасна, люди!

.....

⁵⁹ Barbey d'Aurevilly, в «Le Gaulois» от 3 июля 1872 года.

⁶⁰ Сейчас улица Анри Монье.

⁶¹ «Salon de 1845».

⁶² По словам Поля Жамо.

Как лебедь, белая – и с сердцем изо льда...

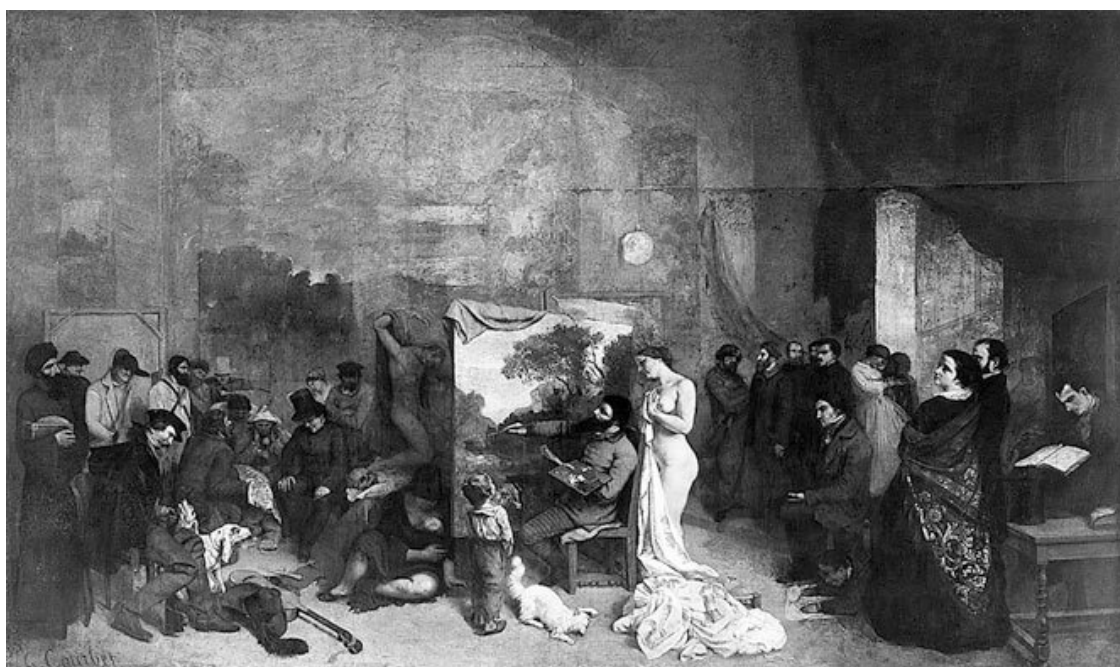
.....

Претит движенье мне перестроеньем линий,

Гляди: я не смеюсь, не плачу – никогда⁶³.

Именно в то время, когда возникла дружба с Бодлером, Мане писал этюды с Александра – мальчик-подрочный по мастерской часто ему позировал.

Мане чрезвычайно любит подростка, ему привлекательна эта «живая шаловливая физиономия», принимающая порой грустное, меланхолическое выражение. После того как художник изучил приятные черты Александра в живописных набросках, рисунках и лависах, он резюмирует свои наблюдения в картине «Мальчик с вишнями»: здесь преломились самые разные влияния, начиная с голландских мастеров и Шардена и кончая даже Мурильо – он, кстати, Мане совсем не нравится. Ведь Бодлер, как, впрочем, и Мане, тоже без ума от испанцев; поэту очень хочется, чтобы художник как можно больше почерпнул из их произведений.



Густав Курбе. Мастерская художника.

Мане все еще одолевают сомнения, он мечется, пытаясь обрести себя. Воображение ему почти не свойственно, а так называемое вдохновение его никогда не посещает, он не в состоянии предугадать, какую картину напишет, на каком сюжете остановится, – хватаясь за один, затем тут же начинает новый. Если что-то по-настоящему его и волнует, то это проблемы фактуры, техники. Все эти традиционные полутона набили оскомину. «Мне претит все бесполезное, – говорит он Прусту, – но этого мало – надо увидеть то, что полезно».

Однажды Кутюр – он при случае не прочь узнать мнение Мане – показывает ему только что написанный портрет оперной певицы мадемуазель Пуансо. Мане хвалит работу, но тем не менее находит ее колорит «тяжеловатым, слишком засоренным полутонами». Кутюр, настроенный в тот момент миролюбиво, не воспринимает критику всерьез. «Ага! Наконец-то вы поняли. Вы отказываетесь видеть последовательность промежуточных тонов». Ну

⁶³ Перевод Вячеслава Иванова.

конечно, признается Мане, свет представляется «таким единым, что одного тона достаточно для его передачи, — поясняет он, — и хоть это может показаться резким, желательнее делать внезапный переход от света к тени, а не нагромождать оттенки, которых глаз не воспринимает и которые, помимо всего прочего, ослабляют не только силу света, но и окраску теней, подлежащую выявлению. Ибо, — уточняет он, — окраска теней имеет массу оттенков, она вовсе не однообразна».

Пожав плечами, Кутюр прыскает со смеху. Бедняга Мане! Никогда он не избавится от своих сумасбродств. После того как Мане ушел, к Кутюру приходит гравер Монсо. Кутюр продолжает и при нем поносить Мане и в конце концов называет его «тронутым». Монсо — болтун, он повсюду повторяет это слово, и в результате оно становится известно Мане.

Мане мечет громы и молнии. Он задет и клянется отныне обходить дом Кутюра. Это не мешает ему утверждать, что он поубавит Кутюру спеси. «Я ему не то покажу; сделаю еще картину. Тут-то он меня и попомнит».

Следующий Салон откроется через семь-восемь месяцев, 15 апреля 1859 года. Вот там и следует нанести решительный удар. В самом деле, Мане давно пора, как считает его мать, «проявить себя», доказать свой талант. «Салон», «Салон», как раньше «Мореходная школа», «Мореходная школа» — всегда в кругу семьи одна и та же песня. Но ведь и вправду речь идет об экзамене — экзамене, последствия которого будут куда как серьезны. Салон — учреждение официальное, регламентируемое и контролируемое государством: его основание восходит еще к XVII веку, а сейчас он практически дает художникам единственную возможность показать свои произведения публике и любителям. К тому же любители, за очень редким исключением, покупают только экспонируемые в Салоне работы. А разве иначе возможно? Как ни пытайся, трудно представить, что не попавшие в Салон картины могут иметь какую-то ценность. Разрешение выставляться в Салоне — это гарантия, своего рода патент на талант. Вне Салона надеяться не на что! В былые времена в Салон было не так трудно попасть. Но с 1857 года Академия изящных искусств восстанавливает прерогативы, какими она пользовалась при июльской монархии, и вершит свою волю. Хочешь не хочешь, но всем этим господам в зеленых фраках ты должен понравиться. От произнесенного ими «да» или «нет» зависит карьера или гибель тех, кто жаждет признания. Мане лихорадит — он хочет стяжать свои первые лавры.

Как-то в Лувре — а там бродит много разных чудаков — Мане заметил (может быть, это Бодлер обратил его внимание) высокого тощего малого, который на манер Тальма драпировался в длинный коричневый плащ, одет был бедно, неряшливо, а на голове имел пыльный, выцветший цилиндр. Персонаж этот чем-то Мане привлек. Он заговорил с ним и узнал, что этот старьевщик, торговец железным хламом откликается на имя Колларде. «Г-н Колларде, как вы отнесетесь к тому, чтобы я сделал ваш портрет?» Ну разумеется. Г-н Колларде будет позировать на улице Лавуазье.

Всю зиму 1858–1859 года Мане усердно трудится. На этот раз он работает над прекраснейшим полотном, достойным, считает он, «Мениппа» Веласкеса, но, естественно, с учетом разницы возможностей. Рядящегося под Тальма оборванца он превращает в «Любителя абсента», создает образ почти бодлеровский, образ человеческого падения.

«Любитель» самым недвусмысленным образом заявляет о намерении Мане не иметь никакого дела с исторической живописью, говорит о его стремлении искать модели в современной жизни. В этой самостоятельной работе порукой и гидами Мане служат испанцы — и не только Веласкес, но еще и Сурбаран, и Рибера. Пока его самостоятельность дальше не простирается. Одержимый желанием создать «шедевр», он помнит о заветах Кутюра и требованиях, предъявляемых академическим жюри. Чего бы это ни стоило, но он заставит учителя отозваться о работе с похвалой. Он пишет тщательно и, обуздывая собственные склонности, идет на некоторые уступки. Подготовка холста сделана в полном соответствии

с рецептами Кутюра; тени распределены так, как он того требует. В «Любителе» есть что-то такое, что отдает дисциплиной ателье и школярством.



Эдуар Мане. Мальчик с вишнями.



Эдуар Мане. Любитель абсента.

К концу зимы холст закончен. Чувствуя себя победителем, Мане приглашает Кутюра на улицу Лавуазье. Увидев «Любителя», Кутюр конечно же должен понять, что его уроки не пропали даром, но его шокирует вульгарность сюжета: мало того, что это портрет алкоголика, в самой живописи есть что-то необычное, и это его возмущает. «Друг мой, – резко бросает он, – я вижу только пьяницу – и создал эту гнусность художник». Он тут же уходит.

Учитель и ученик никогда больше не встретятся⁶⁴. «Кончено!» – заявляет в возмущении Мане. Как жаль, что он пошел на уступки. «Высказавшись подобным образом, Кутюр поступил хорошо, – утверждает он. – Я хоть на ноги встал».

Чистое фанфаронство. Мане потрясен. И все-таки, несмотря ни на что, надеется, что жюри Салона сумеет его оценить. Но уверенность уже поколеблена. Он опасается самого

⁶⁴ Кутюр вынужден будет закрыть свое ателье через несколько лет, в 1863 году. В 1869 году он уедет в Вилье-ле-Бель, где проживет «в уединении, которое благодаря полному безразличию современников превратило его в заживо погребенного» (Альбер Вольф). Но до самой смерти, последовавшей в 1879 году, у него были верные клиенты-американцы. Это давало ему возможность не полностью «сойти со сцены». «Я усердно тружусь, – писал он в январе 1870 года. – Любители наезжают сюда, как в Париж, и я, почитающий одно только искусство, богатею с их помощью, как колониальный торговец».

худшего. Ему, такому эмоциональному, повсюду мерещатся какие-то угрозы, всяческие опасности, а тут еще однажды вечером, не обнаружив Александра в мастерской, он принимается его искать и – о ужас! – находит в чулане – тот повесился, предварительно засунув в рот «кусочек ячменного сахара».

Этот трагический случай станет у Бодлера сюжетом для жестокого рассказа «Веревка»⁶⁵. «...Он успел уже окоченеть, и мне пришлось испытать чувство неодолимого ужаса при мысли о том, что он может грохнуться вниз. Одной рукой приходилось его поддерживать, а другой – обрезать веревку. Но и этим дело не кончилось: маленькое чудовище воспользовалось очень тонкой бечевкой, которая глубоко впилась в кожу, и теперь, чтобы высвободить тело, надо было тонкими ножницами нащупывать бечевку в глубине рубца, который образовался на вздувшейся шее». Мане – а рассказ был посвящен ему – хладнокровием Бодлера отнюдь не отличался. Самоубийство «мальчика с вишнями» его потрясло. Он теряет всякое спокойствие. Каждый раз, когда он посещает мастерскую на улице Лавуазье, то испытывает жуткий страх, мрачный образ погибшего неотвязно преследует его. Будучи суеверным, он одержим одним желанием – как можно скорее распрощаться с мастерской, где сосредоточиться больше не в силах, где кисти просто падают из рук. Да, кстати, и Баллеруа собирается переехать в Кальвадос.

Пока результаты обсуждения жюри еще неизвестны, Мане ходит по адресам, где сдаются мастерские. Кто-то говорит, что есть подходящий вариант на площади Клиши. Он отправляется туда. Помещение ему подходит, он уже готов согласиться, как вдруг замечает торчащий из стены большой гвоздь. «Здесь кто-то повесился?» – побледнев, спрашивает он консьержку. «Кто вам сказал?» – удивленно восклицает она. Но Мане поспешно исчезает.

За три дня до официальной публикации решения жюри Мане каким-то образом узнает, что его полотно отвергнуто. Он взбешен, но никому не обмолвился даже словом. Он уверен, да, да, абсолютно уверен – это Кутюр оговорил его перед членами жюри. Все голосовали против него, все, кроме одного человека: Делакруа, совсем недавно избранного наконец в Институт⁶⁶. Жюри действительно отклонило всех художников, хотя бы немного отступивших от академической ортодоксальности, отклонило самым резким, непримиримым образом. Число отвергнутых несметно. Но это ничуть не утешает Мане, он молчит, в глубине души беспрестанно думая о своей неудаче. Так как следующий Салон будет только в 1861 году, ему следует запастись терпением еще на два года. Что скажет отец? Его отец, прикованный к креслу, – как вопрошающе глядит он каждый раз, когда Мане приходит домой. А Сюзанна? Какое разочарование. Вздохи матери он слышит заранее. У счастливчика Баллеруа взяли четыре картины.

Пруст и Бодлер находятся рядом с Мане, когда весть об отказе достигает улицы Лавуазье. Мане в ярости, раздражение против Кутюра безгранично и нескрываяемо. Пруст пытается успокоить его, уверяя, что Кутюр наверняка в этом деле не замешан, а вот что касается Делакруа, то тот еще раз показал, «насколько он выше мелочности своих современников». Еще бы! «Делакруа ведь не чета Кутюру!» – поддерживает Мане.

«Вывод один, – говорит Бодлер, – надо быть самим собой». – «Дорогой Бодлер, я всегда вам это говорил, – восклицает Мане. – Но разве я не был самим собой в „Любителе абсента“?» – спрашивает он, забыв обо всех уступках. Поэт глядит на художника. Он не отрицает, что «Любитель абсента» мог бы стать иллюстрацией к некоторым частям «Цветов

⁶⁵ Опубликованная впервые спустя несколько лет после этого случая в «Le Figaro» от 7 февраля 1864 года «Веревка» будет затем включена в сборник «Le Spleen de Paris».

⁶⁶ На следующий день после своего избрания в 1857 году Делакруа писал одному из корреспондентов: «Льщу себе надеждой, что смогу тут (в жюри Салона) быть полезным, ибо мое мнение будет здесь почти одиноко, а это тот самый случай, когда не придется сказываться больным».

зла». Но пусть в картине есть красивые черные тона, «густые и бархатистые»⁶⁷, – от этого она не перестанет быть кутюровской. К тому же скованная поза героя картины искусственна и отдает мелодрамой. «М-да, м-да», – поэт больше не хочет ничего говорить. «Так, значит, Бодлер меня тоже ругает, – восклицает Мане. – Все ругают...»

Количество отвергнутых жюри так велико, что многие пострадавшие поговаривают о явной несправедливости: парижские мастерские бурлят гневом. Недовольство объединяет отвергнутых в группы: выстроившись против Института, они на чем свет поносят жюри, освистывают академиков, директора департамента изящных искусств г-на де Ньюверкерке, почетного камергера императора. Полиции приказано разогнать демонстрантов.

Мане предпочел не быть с ними. Сколь ни были велики его разочарование и озлобление, никакие блага мира не заставили бы его смешаться с этими взбунтовавшимися «рап-энами». Он слишком чтит общественный порядок и всю эту возню воспринимает как нечто сугубо неприличное⁶⁸.

⁶⁷ По словам Поля Мантца.

⁶⁸ От самого раннего периода в творчестве Мане сохранилось не более трех десятков произведений. «Любитель абсента» принадлежит ныне копенгагенской Новой Глиптотеке Карлсберга.

II. Андалузский гитарист

*Мане, насмешник белокурый,
Как весел и изящен он,
Как обаятелен, как тонок
Сей бородатый Аполлон...*

Теодор де Банвиль

Реакция г-на Мане оказалась неожиданной. Он тоже обвиняет только Кутюра. Значит, и впрямь от него никакого толку, если ученик, шесть лет у него проучившийся, не получил в соответствующий момент должной поддержки! Вот Пико совсем по-другому относится к своим питомцам! Как член жюри он голосует в первую очередь за них; что касается остальных кандидатов, то пусть они выходят из положения с помощью собственных учителей! Вот это «патрон»! И все себя так ведут. Но Кутюр!

Приемный день мсье и мадам Мане – четверг; вышедший в отставку судья каждый раз развивает перед немногочисленными друзьями Эдуара, бывающими на этих вечерах, вышеупомянутую тему.

Неожиданная поддержка придает Мане бодрость и силы. В конце концов ему удастся найти себе новую мастерскую в доме № 58 по улице Виктуар в квартале Трините. Маленькое, плохо освещенное помещение, но все лучше, чем удручающие воспоминания о «мальчике с вишнями». Прежде чем распрощаться с улицей Лавуазье, художник приглашает поглядеть на «Любителя абсента» своих знакомых из мира искусств. Каждый – искренне или в силу общепринятой вежливости – выражает восторги по поводу картины. Этого уже достаточно, чтобы Мане пришел в хорошее расположение духа. Погодите, он еще себя покажет; этот провал – просто случайное и досадное происшествие, не более того.

Какое же полотно начать? Что писать? В годы, когда сюжет, анекдот являет собой основу живописного произведения, собственно говоря, то, ради чего оно пишется, когда львиную долю в критических статьях занимают как раз пересказы сюжета, Мане кажется своеобразным именно потому, что ничуть им не интересуется; его устраивает любой сюжет, лишь бы иметь повод расположить на холсте краски так, чтобы согласовать их. Вот тут-то и кроется причина его непостоянных настроений, и потому Мане не в силах сосредоточиться. Он набрасывает портрет аббата Юреля⁶⁹, затем увлекается другой неожиданной работой: начинает довольно большой по размерам холст, иллюстрирующий эпизод из романа Лесажа «Жиль Блаз», – «Студенты Саламанки»⁷⁰. Затем берется за живопись совсем уж необычную.

Он намерен изобразить себя самого и Сюзанну на фоне пейзажа, прямо на открытом воздухе. Поначалу его привлекал остров Сент-Уэн, где уединяется порой влюбленная парочка, чтобы там, в загородном кабачке, провести время вдали от любопытствующих взоров. Но природа Мане не вдохновляет. Кроме моря, этот парижанин любит только город.

«В деревне» он просто «скушает». Когда же рискует туда отправиться, то все равно остается горожанином и не снимает цилиндра. Равно как и трудиться над тем, что принято называть композицией, ему тоже скучно. Что же делать? Решено! Он не колеблется больше: чтобы изобразить Сент-Уэн, он спросит совета у Рубенса, позаимствует у него аксессуары и пластические элементы – они-то и помогут ему выявить талант колориста. Он хорошо

⁶⁹ Юрель получит этот портрет в подарок уже после смерти художника. Считая, что холст слишком велик, он его разрежет, уменьшив наполовину.

⁷⁰ Сейчас в музее Буэнос-Айреса.

знает две картины Рубенса: луврский «Пейзаж с радугой» и «Пейзаж с замком и парком Стен», который видел в музее Вены. У первой «одолжит» радугу, собаку (повторив ее почти буквально) и расположение небольшой группы деревьев; из второй – две фигуры во фламандских костюмах XVII века. А вдруг его упрекнули в плагиате? Чтобы предотвратить это, художник меняет направление взятых у Рубенса элементов. Да черт с ним, если это и вызовет подозрения!⁷¹ Но работа производит двойственное впечатление, отрицать это не приходится.



Питер Пауль Рубенс. Пейзаж с радугой.

⁷¹ Пройдут долгие годы, прежде чем исследователи задумаются над теми приемами, к которым Мане неоднократно прибегал. Среди современных ему критиков единственным обратившим на это внимание был Теофиль Готье. Но только спустя пятьдесят лет после смерти художника появится первая систематическая работа о таких «заимствованиях»: в мае 1932 года Germain Bazin опубликует в журнале «L'Amour de l'Art» капитальный труд по данному вопросу («Manet et la tradition»).



Питер Пауль Рубенс. Пейзаж с замком и парком Стен.

Скорее всего разочаровавшись в достигнутых таким путем результатах, Мане снова обращается к своему любимому Веласкесу, делает с него две откровенные копии и – новая проба кисти – приступает к работам «в манере такого-то», среди них – «Сцена в испанской мастерской», где представлен сам Веласкес, пишущий «Малых кавалеров». Великолепный по мастерству холст «Мальчик с собакой» также недвусмысленно напоминает Мурильо – пожалуй, работа эта отчасти навеяна еще и воспоминаниями о погибшем Александре.

Казалось бы, такое топтанье на одном месте должно было встревожить Мане. К тому же его технике явно не хватает уверенности. Но, как известно, творческое развитие идет иногда неожиданными путями. Зачастую художник имеет больше всего оснований падать духом именно тогда, когда он близок к своей собственной истине. Он напоминает путника, блуждающего в лесной чаще; эхо дезориентирует его, он совсем было отчаялся найти дорогу, оказывается же, надо сделать всего несколько шагов, чтобы выйти на опушку.

Такой опушкой следующей зимой, 1859–1860 года, станет для Мане сад Тюильри. Во второй половине дня художник часто гуляет там вместе с Бодлером. Онивливаются в толпу элегантно одетой публики, соблазненной тенистой листвой деревьев.



Эдуар Мане. Мальчик с собакой.



Бартоломе Эстебан Мурильо. Мальчик с собакой.

Расположенный неподалеку от дворца, где императорский двор блистает роскошью, сад этот – излюбленное место встреч всего светского Парижа. Сюда приходят как в гостиную, в салон. Расположившись на металлических стульчиках, которые можно взять напрокат, или неспешно прогуливаясь, господа в светлых жакетах и панталонах со штрипками, дамы в коротких накидках, хоронясь от весенних лучей под тенью зонтиков блеклых тонов, болтают о том о сем. Переходя от группы к группе, мило сплетничают, обсуждают события дня: избрание Лакордера во Французскую академию; косметическое молочко против веснушек; магазин, где стены сплошь обтянуты атласом золотистого цвета, – его недавно открыли на бульваре Капуцинок сестры Джорни, – там продают неописуемо прелестные дамские кофточки, лучше которых в Париже не найти. Или нашумевшие в столице концерты – вроде того, что недавно вызвал бурю восторгов и рев негодования публики: в зале на Итальянском бульваре выступал вызывающий самые жаркие споры музыкант эпохи Рихард Вагнер. Или периодические нападки на кринолин; журналисты клеймят «это зло, сеющее ужас в душах мужей». Однако вопреки высказанному духовенством осуждению кринолин «продолжает свое победоносное шествие, и самые рьяные его хулители потонут в волнах ленточек и рюшей». Или последнюю пьесу в «Фоли-Драматик» – «Париж забавляется», где исполняют куплет, как нельзя лучше характеризующий эпоху:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.